

Геннадий Хлебников

Уроки в Гостилицах

ДБ 84 (2 рос-рус) 6-4
X 55

Автограф
автора



портфелем
и пером. Остаток
своего и дел
судя о нем
судя о нем
ам аббаса

29/1-07a

Врениу
Нанне Брагуну
Ковсе
с мислени
уладе
сержант
ан абс
(1. Кидил
23.11.2000



ДВ84(2)рос=199/6-4
X55
И
Геннадий Хлебников

УРОКИ В ГОСТИЛИЩАХ

Автобиографическая повесть

183324

Омское книжное издательство
МУК ГЦБ
Абаровский край

УДК 882

ББК64(Рос=Русс

дая

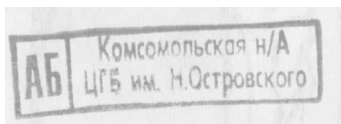
Художник Анатолий Юферев

Хлебников Г.Н.

Хяя Уроки в Гостилицах, Пов.\ Хабаровс-

кая краевая писательская организация
2УУУ- 2а4 с.

Книги Геннадия Хлебникова посвящены ярким событиям в жизни Хабаровского края и особенно одного из его лучших городов Комсомольска-на-Амуре. Но эта повесть особенная. В ней Геннадий Николаевич с большой любовью рассказывает о первых своих учителях, о друзьях-товарищах, которые помогли ему состояться как человеку и писателю.



© Хлебников Г.Н.2000

© Юферев

А. . (художник) 20

Об авторе

Ахщтпы ЗырГэтхыч дэх9щырГь -Гпыз.2

ь .хзх еы4хц5 Птщрж0юхжх-9К-6.рГу 6К9х-щы ь
:Р:я 6ГпК, Хчыз.2 ь АГ.жызыэрГу црГзх
р-х.ж5щ.рГу ИГзГпхсы . :Рнб 4Г :Р/: 6Гп,
ТтрГщчыз ПТХ ь 6Г-Гпх ютьзГь.рх ь :Р/н 6ГпК, ;
МжГИ 6ГпК фе ;ДеП№ 4-ы7ьтз рГИ.ГИГз5эхь
хВтж5 щт .ж-Гуры лтз5щх6Г ;Г.жГрт, АхщтпыС
ЗырГэтхычК жГ6пт ы.4ГзщызГ.5 жГз5рГ
.хИщтпэтж5 зхжй х6Гй щх.ИГж-2 щхх 4-Г.59—й
щх ь72зы, вт9Гжтз .зх.т-хИ щт юКжызГь.рГИ
7тыГпх, 3Г ь ыСзх :Р/к 6Гпт 9—эт Г932ьзхщт
ьжГ-т2 ИГ9ызы7тэы2 рГИ.ГИГз5эхь щт .ж-Гы1
жхз5.жьГ 6Г-Гпт еГИ.ГИГз5.р0щт0мИК-х,

Ахщтпы ЗырГэтхыч 4ГзКчыз 4КжхьрК
ы ь рГщэх

зхжтГж4-тыыз.2 .ж-Гыж5щГь—у 6Г-ГпйГь—у7т1
ьГп, ; жх 6Гп— .ж-тщт щтчтэт Г.ьтыьтж5
Пхьх-щ—у ИГ-.рГу 4Кж5й ж-х9Гьтзы.5 .4хэы1
тз5щ—хГрхтщ.рых .КптйрГжГ—хы пГзсхщ 9—з
ь—4К.ртж5щГь—у7тыГп, АхщтпыЗырГэтхыч
Кчт.жьГьтз ь .ж-Гьжхз5.жьх .КпГьх-шы 9—з
9-ыбтпы-ГИИГщжтсщырГьтжхИ рГИьжрЖИ.Г1
ИГэт щт4-тыыз х6Г щтИГщжтс Г9Г-КпГьтщы2 ры-1
4ычщГ6Г 7тыГпт, и—ж-Г-т.жКШхИК 6Г-ГпК
ж-х9Гьтз.2 ртхх.жьхщщ—у ры-4ыч ы Ахщтпы2
ЗырГэтхычт К6ГьГ-ызы Г.жтж5.2 -т9Гжтж5пх.5,

Ющ ж-Кпыз.2 шт МжГИ 7тыГпх ж-ыщтпэтж5 зжжй
4-ычхИ 4Г.зхпщых пьт 6Гпт бзтыщ—И ыщсхщх-ГИ,
; Дхщыщ6-тпх 4Г9—ьтз жГз5рГ ь :Р/Р 6ГпКй
ьГ ь-хИ2 Гж4К.рт, ЕИК 4-хпзбтззы ьх-щКж5.2 шт
юКжызГь.рыу 7тыГпй птытзы рьт-жы-К, 3Г Гщ Ксх
щх ИГ6 -т..жтж5.2. еГИ.ГИГз5.рГИ0щт0мИК-хщпх
ы сыьжж по.ху пхщ5,

юы.тж5 Ахщтпыу ЗырГзтхыч щтчтз -тщГ,
; црГзх 4ы.тз .жыВый ьх7пх 9—з -хптржГ-ГИ
.жхщбт7хж, ; еГИ.ГИГз5.рх 4ы.тз ь бт7хжК7тИхжрый
ьГцхз ь зыжГ93хпыщхщых, (ы.зыз.2 тржыьщ—И
-т9рГ-ГИй ы 4ГМжГИК 4Г.зх ьГущ6Г-рГИ 4т-жыы
4Г.зтз Ахщтпы2 ЗырГзтхычт .-т7К сх -т9Гжтж5 ь
-хптрэыы бт7хж—, Пжтз сК-щтзы.жГИй 4ы.тз
Гчх-рый -т..рт7—, Пщтчтзт 9—з зыж.Гж-КпщырГИй
7тИх.жыжхххИ -хптржГ-тйт 4ГжГИ .жтз ы
-хптржГ-ГИ 6Г-Гп.рГу бт7хж—,

юх-ьт2 большая рщыбт) ы.жГ-ычх.рт2
4Гьх.ж5 Ж; пГзыщх ОхзжКбы|)в—цэт ь :РяР 6ГпК,
юГжГИ 9—зып-Кбых 4Гьх.жый -ГИтщй 45х.—Нжтз
чзхщГИ ПГС7т 4ы.тжхзху ПППв, 3т .чжжК
Ахщтпы2 ЗырГзтхычт дзх9щырГь.ть—цх пьКВ
пх.2жрГь рщыб,





1. ХУТОР

Балтийский холодный ветер гонит по небу серые осенние тучи, источающие надоедливую морось. Я бреду по мокрой пожухлой траве и смотрю на потемневший от дождей наш дом. Он одиноко стоит на лесной поляне, с трех сторон окруженный ельником. Только к югу тянется полоска пашни, упираясь вдали в шоссе. А дальше снова лес. У меня такое чувство, словно я никогда больше не увижу эту знакомую до мельчайших подробностей картину. И меня это не огорчает, я даже доволен, что смогу, наконец, вырваться из объятий всегда настороженного, враждебного леса. Сегодня я ухожу отсюда. Но несмотря на то, что я настраиваю себя против леса, окружающего этот замкнутый мирок, в глубине души теплится грусть. Как-никак

четыре года из своих тринадцати я прожил здесь.

Хутор... Впервые это слово стали произносить в нашей семье лет пять назад. Отец загорелся желанием получить земельный участок, построить дом. “Не вечно же нам жить в казенных домах”, — говорил отец, развивая перед матерью привлекательную картину будущего житья на хуторе. Дед мой, как отец только женился, выпроводил его из дому: “Земли у меня, сам знаешь, кот наплакал, а вас парней еще пятеро, кроме тебя, так что выходит — идти тебе на заработки в Питер”. И отец ушел с молодой женой. Учиться отцу пришлось лишь в приходской школе. Он усиленно занимался самообразованием, много читал и добился в своей жизни немало. Он прошел путь от землекопа до поста старшего мастера Нарвского шоссе, что протянулось от Нарвских ворот Ленинграда до города Ямбурга. Отец очень гордился этим званием. Человек прямой, честный, отзывчивый, он пользовался уважением в округе. Казалось, достиг человек известного положения, чего еще надо? Но отца, крестьянского сына, никогда не покидала неистребимая тяга к земле. И как торжествовал он, когда при очередном землеустройстве нашей семье отвели шесть десятин земли.

Отцу не терпелось скорее переселиться на хутор. Своими руками он спешно построил маленькую мазанку, приладил к ней такой же саманный хлевок, и мы переехали в этот лес, покинув большое красивое село, где жили много лет, где я родился.

Мать протестовала: “Надо дом настоящий построить, двор, словом, все как положено. Что мы — цыгане — в такой халупе? Квартиру какую бросаем...Детям в школу ходить за четыре километра...” Много вполне резонных возражений приводила, но отец не уступал, посмеивался; “Не сразу Москва строилась, — говорил он. — Будет и у нас хороший дом, потерпи”.

Обремененный трудной работой на шоссе, отец каждый свободный час тратил на устройство хутора. Постепенно и мать стала верить, что наша семья приживется на хуторе. По соседству с мазанкой угрюмый и молчаливый финн рубил новую для нас избу, лениво орудуя топором. Трое гдовских мужиков, великие, по их заверениям, спецы, вырыли погреб, покрыли его дерновой крышей. В погреб отец засыпал известь для строительства будущего каменного скотного двора. Завезли камень. “Великие спецы” принялись копать колодец. “Вода будет — чистый сахар”, — обещали они

моей матери, ходившей каждый день за водой на дальний пруд. Но наша стройка быстро разладилась. “Великие спецы”, содрав с отца сумму, равную цене строительства всего колодца, бросили копать на десятом метре, объявив: “Грунт чижолый очень, а потому нам несподручно тут время терять. Нас в другие места зовут.” Вскоре после их ухода крыша погреба обвалилась, засыпав землей известь. Финн, оказавшийся дрянным плотником, кое-как слепив сруб дома, тоже засобирался домой. “Ты хоть под крышу подведи дом,” — упрашивала мать, но финн был непреклонен. Собрал свои пожитки, получил сполна деньги за свою работу и ушел. Встречаясь с такой откровенной наглостью людей, отец всегда терялся и даже, как я догадывался, чувствовал себя виноватым.

—Ну какой ты хозяин! — сердито выговаривала отцу мать. — Тебя любой проходимец вокруг пальца обведет. А еще хуторянином решил заделаться. Жил бы в казенном доме. Земля — не твое дело.

Отец злился, возражал, понимая, что в какой-то степени мать права. Много лет прошло с тех пор, как они с отцом покинули дом деда. Давно порвались нити, сзывающие их с землей по-настоящему, по-крестьянски. С женской проницательностью мать видела это яснее. Земля

не терпит дилетантского к ней отношения. Недостаток опыта отец старался пополнять сведениями из популярных брошюр. Он добросовестно следовал советам авторитетного в те времена журнала "Сам себе агроном". Отец вводил многополье, сеял диковинные для Прибалтики бобы, кукурузу, люцерну, кормовую свеклу. Крестьяне из соседней деревни Глухово подсмеивались над чудаковатым дорожным мастером, на кой—то черт сунувшимся пахать, но при встрече почтительно выслушивали его восторженные отзывы о пользе того или иного нововведения. Бобы и кукурузу охотно съедали свиньи и жирели. Часть свинины шла на прокорм наемных рабочих, копавших то ли колодец, то ли пруд, часть продавалась, а деньги тратились на латание все новых прорех в хозяйстве. Словом, если бы не зарплата отца, он давно бы увяз по уши в долгах.

Разные по характеру люди, отец с матерью, и раньше жившие в хрупком согласии, становились все холоднее друг к другу. Все чаще вспыхивали между ними ссоры. Мать любила быть на людях. Она и спеть мастерица, и охотница побеседовать. После революции мать с головой ушла в дела общественные, избиралась делегаткой на Всероссийский съезд женщин, возглавляла сельский женсовет.

Отцу не нравилась общественная деятельность матери. Он подтрунивал над нею, называл “министром”, но никогда не мешал ей ни в чем. Словом, между супругами существовал негласный уговор. На хуторе же несоответствие характеров супругов стало особенно заметным. Хозяйственные и бытовые неурядицы удручали мать. Она стада придирчивой, несправедливо сварливой. Ссоры участились. И ни один не хотел уступить: характеры у обоих — кремень. Однажды во время очередной перепалки, отец, каменея от негодования, сказал:

— Все! Я ухожу... — и бросил в траву косу, которую отбивал молотком, готовясь косить.

— Уходи, никто не держит! — отрезала мать.

— Посмотрим, как ты одна станешь жить, — зло проговорил отец.

— Не твоя забота, — отозвалась мать.

— Вот как? Хорошо! Я беру только письменный стол, остальное, — отец повел рукой вокруг — оставляю вам.

Мать молчала.

Через час отец привел на хутор подводу. С помощью возницы он вынес из дому стол и погрузил его на телегу. Нелепо торчали его толстые точеные ножки. Потом отец вынес связку книг,

папки с бумагами, бросил поверх стола поношенную свою бекешу, старую корзину с бельем. Он подошел ко мне, положил тяжелую руку на голову, сказал хрипловатым голосом:

— Ну, Игнашка, оставайся, хозяйничай тут — буду заглядывать.

Он резко повернулся, крикнул возчику “Трогай!” — и зашагал знакомыми широкими шагами по полю. Вслед, заскрипев, тронулась телега. Я долго смотрел на удаляющуюся фигуру отца, еле удерживаясь, чтобы не заплакать. Я чувствовал: что-то важное и большое уходит из моей жизни и никогда больше не вернется...

Уход отца привел мать в смятение и растерянность. Хотя она и старалась не подавать виду, тщательно скрывая свои чувства, я понимал: ей очень трудно сейчас. Мать ходила как в воду опущенная, забросила повседневные обычные свои дела. Даже скотину пришлось кормить и поить мне, она часто забывала. Однажды я увидел, что мать сидит возле окна и смотрит в ту сторону, куда уезжала повозка с письменным столом и ...курит папироску. Заметив меня, она смутилась, жалко улыбнулась и сказала:

— Папиросы кто-то оставил. Вот, решила одну курнуть. Противно! — и размяла папироску, выбросила ее в окно.

Но прошло несколько дней, мать приободрилась.

— Он думает, что мы пропадем без него, — вслух спорила она с отсутствующим отцом. — Не пропадем, верно, Игнат? Не хуже мы станем жить.

Я соглашался с матерью, радуясь, что она преодолела растерянность и уныние. И знакомые доброхоты поддерживали ее решение продолжать вести хуторское хозяйство. Они приводили достаточно убедительные примеры, когда вот так же одна хозяйка с малолетним сыном успешно справлялась с хозяйством. “Да иному мужику вот такой оголец, как твой, сто очков вперед даст!” — говорили доброхоты.

Началась нелегкая борьба за престиж.

С каким-то отчаянным остервенением взялась мать за работу. Сколько было сил я ей помогал во всем. Вставали рано, ложились к полуночи, так и не переделав всего, намеченного на день. Окучивали картошку, косили и сушили сено, кормили скотину и птицу. Утром, перед восходом солнца, когда так сладко спится, мать осторожно будила меня:

— Вставай, сынок, пора, стог надо дометывать...

— Спать хочу...

— Нельзя, вставай, люди уже рабо-

тают, — не отступает мать. Отчаянно зевая, я выхожу на улицу. Июльское солнце уже выглядывает из-за острых макушек елей, туман навис над травой, сизой от росы. Полусонный лезу на стог, сметанный наполовину. Мать топчется у подножия стога, поддевая вилами охапку душистого сена. Вот эта охапка появляется перед моим лицом...

— Принимай! — покрикивает мать. — Ровнее клади. Да не свались ты, господи! Стой ровнее, не проснулся еще...

“Вставай, сынок, пора!” — этой фразой, которую мать произносила ласково-виноватым голосом, теперь начинался для меня каждый новый день. И каждый раз я просил немного обождать, мне постоянно хотелось утром спать. Но я пересиливал сонную тяжесть в теле, поднимался и шел с матерью жать овес, копать картошку, загораживать посевы от скота. Соседние хуторяне норовили направить коров и овец на наш участок. А если мать возмущенно выговаривала им, соседи с притворной озабоченностью качали головами: “Надо же, Ванятка, стервец, не досмотрел. Ужо ему всыпем...” Но через несколько дней коровы снова паслись в наших овсах, теребили сено из стога, объедали капусту. Я понимал, что соседи ничуть не боятся матери, что им доставляет удовольствие

видеть, как наше поле вытаптывается скотом.

Только теперь, после ухода отца, я стал понимать, что значит хозяин в доме, настоящий хозяин — взрослый мужчина. То что отец раньше делал походя, весело напевая глуховатым голосом какую-нибудь песенку, для нас с матерью превращалось в непреодолимую проблему. Оказывается все вещи, окружающие нас, имеют противную привычку ломаться, стачиваться, ржаветь, а то и просто исчезать. Чтобы изготовить новую оглоблю, развести и наточить пилу, выстругать топорище, нужно было обращаться к мужикам в соседнюю деревню. Какой-нибудь бородач молча выслушивал заискивающую просьбу матери, скучнея, почесываясь, отнекивался, ссылаясь на занятость, но, лишь завидев сургучную головку сороковки в кошелке матери, веселел, соглашался, проворно брался за работу. Строгая оглоблю или топорище, бородач наставительно поучал меня: “Присматривайся, малый, учись, значит, сам потом сделаешь”. Я учился, присматривался, но опыт не быстро дается подростку. Так что приходилось носить сороковки бородачам, таяли наши скудные сбережения.

Иногда на огонек заходили на хутор гости, чаще женщины. Они чинно пили

чай, прихлебывая из блюдечка, отведали ржаные пироги с капустой, похваливали мать за отличную выпечку, и довольная мать рдела от удовольствия. Гости вели неторопливую беседу, внимательно и сочувственно выслушивали сетования матери: “Если бы не ревматизм, я бы еще не так дело поставила”, — хвасталась мать, польщенная похвалами гостей-доброхотов. В свое время мать жестоко переболела ревматизмом. С тех пор левая рука ее не сгибалась, уродливыми стали ноги. Сколько я ее помню, она всегда по вечерам натирала руки и ноги каким-нибудь народным снадобьем, по словам рекомендателей истинно чудодейственным. “Один на костылях, понимаешь, ходил, попользовался средством, костыли отбросил, танцует!” Снадобья менялись, ревматизм оставался, продолжая мучить мать, особенно к ненастью.

С наступлением зимы работы по хозяйству поубавилось. Я стал ходить в школу. Половина пути в школу — по лесной тропе. Темными декабрьскими вечерами мне мерещились волки. Стараясь подбодрить себя, я громко разговаривал сам с собой, пел песни и бежал, бежал, спотыкаясь на снежных застругах. И как только кончался лес, я видел яркий свет лампы на окне нашего дома. Мать всегда



ставила лампу на подоконник, ожидая моего прихода. Разом пропадал противный липкий страх, и я, веселый и озябший, врывался в дом, в желанное тепло.

Но недолго в тот год ходил я в школу. Однажды утром я вместо школы увидел догорающие головешки здания и унылую фигурку молодой учительницы со связкой книг в руках. Пьяница сторож спалил школу. А посещать другую, находящуюся в восьми километрах от хутора, я не мог. Теперь я сидел дома, помогал матери по хозяйству, читал книги, оставленные отцом. Заядлый книголюб, отец подобрал хорошую библиотеку. Здесь были тома Пушкина, Гоголя, Некрасова, Толстого, Чехова, Короленко, Горького. Попадались книжки советских писателей, зарубежной классики, и были красочные выпуски “Ната Пинкертона”, “Пещеры Лейхвейста”. По вечерам я читал матери вслух, она вязала носки или шила. Иногда тяжело вздыхала.

— Ты что, мам, нездоровится?

— Мне всегда нездоровится. Не то. Не учишься ты, время уходит, вот беда, — сокрушалась мать. — Проклятый этот хутор, чтоб ему!..

Между тем к нашему хутору приближались беды. Однажды мать вернулась из хлева с пустым подойником. Кот Васька умильно терся о материн валенок и

мурлыкал, выпрашивая парного молока. Мать поставила подойник на лавку, села сама, разматывая платок. Лицо бледное, испуганное. У меня замерло сердце в предчувствии неприятного известия.

— Красотка заболела, — прошептала мать. — Сходи, Игнат, к ветеринару.

Ветеринар, седенький старичок со старомодным пенсне на носу, осмотрел корову и, разводя руками, сказал сочувственно:

— Поздно позвали, н-да! Если б раньше, а сейчас...Сейчас забить надо, хотя б мясо сохранить, н-да. Если бы раньше... — И, получив от матери гонорар за визит, уехал на саночках, влекомый мухортым коньком.

Молоко, сметана и прочие вкусные вещи исчезли с нашего стола. Зато вдосталь было мяса. Но нам казалось горьким мясо Красотки, не лезло оно в горло. Посоветовавшись со мной, мать продала большую часть туши. Пересчитывая засаленные кредитки, мать прикидывала, на что их с пользой потратить. Я помогал ей в финансовых расчетах. Разложили бумажки и серебро по кучкам. Мы купим семян клевера, чтобы хорошо кормить будущую телку (телку купим обязательно), отремонтируем плужок. Вот эта кучка пойдет на приобретение кое-какого инвентаря...

— Мерина надо бы перековать, — солидно подсказываю я.

— Надо, стерты подковы, — соглашается мать, в раздумье вороша плохо гнущимися пальцами кредитки. Она вопросительно смотрит на меня, и, вздыхая, продолжает: — Пальтишко у Нюрки совсем истрепалось. Смотреть — стыд один.

Сестра Нюрка живет и учится в Ленинграде. Отец оплачивает ее квартиру, питание. Одевать Нюрку — наша забота.

— Купим пальто, — горячо говорю я.

— Половина денег уйдет на пальто...

— И пусть, выкрутимся, — убежденно говорю я. — Дрова станем продавать, сено.

— У тебя шубейка совсем вытерлась, валенки тоже... — размышляет мать.

— Обойдусь. Кто меня видит на хуторе? — возражаю я самоотверженно.

Мой коммерческий план нравится матери. И верно: красоткину норму сена вполне можно продать в Ленинграде на сенном рынке. Мать приглашает соседа — хуторянина сметать нам воз. До Ленинграда полста километров, надо сметать, чтобы не растряслось сено в пути. И такой воз умело смастерил молчаливый наш сосед. Оценивающим взглядом окинув воз, он сказал матери:

— Теперь воду грей, ведер пяток.

— А зачем вода?

Сосед иронически — сожалеючи взглянул на мать.

— Простота, — сказал он, усмехнувшись. — Для весу сбрызнуть надо возок, все лишний набежит рублишко...

Мать наотрез отказалась от столь постыдного предложения. Сосед пожал плечами: "Воля твоя".

Съездив раз в Ленинград и выгодно продав сено, мать осмелела. За первым возом последовали другие. Возила она и дрова-швырок. Я оставался домовничать. Я привык к одиночеству, вернее стерпелся, потому что временами оно сильно угнетало меня, особенно длинными зимними вечерами. Я забирался на печку, сюда же запрыгивал пес Цыган. Старый пес быстро засыпал и даже храпел во сне как человек, а я читал, приблизив книжку к коптилке. Читал и прислушивался к вою ветра в трубе, к шороху снега за стеной избы. Порой мне становилось жутко от сознания, что я один-одинешенек в темном лесу. Случись пожар, забреди недобрый человек, никто не услышит моего крика, никто не увидит зарева пожара. От тягостных мыслей отвлекали книги. Я плакал от непонятого восторга, читая звучные, чеканные стихи Пушкина, горевал над горькой судьбой диккенсовского Оливера Твиста, путешествовал

по дальним странам вместе с пятнадцатилетним капитаном Жюля Верна. Книги заменяли мне товарищей. И уже не страшен становился вой метели, непонятные звуки, доносящиеся из лесу, не сжимала сердце безотчетная тоска.

Утром громко постучали в дверь. Я проснулся, в окне синел зимний рассвет. Обрадовался: “Мать приехала!” С трудом отодвинул деревянную щеколду. На пороге стоял отец, запорошенный снегом. Он вошел в дом, отряхнул снег с лохматой папахи, спросил:

— Один?

— Да.

— Мать?

— В Ленинграде, с дровами уехала, — проговорил я, чувствуя себя скованным какой-то необъяснимой неловкостью. Я видел, чувствовал, что такую же неловкость испытывает сейчас и отец.

— Та-ак, — протянул отец, покашливая. — Не учишься?

— Школа сгорела.

— Это плохо, что не учишься. Время уходит. А учиться тебе надо обязательно.

— Отец искоса, как-то неуверенно взглянул на меня зоркими зелеными глазами и предложил: — Знаешь что, переходи-ка ты ко мне, учиться станешь в селе, а?

Я молчал.

— Та-ак, — понял отец. — Тогда заходи ко мне. Ты же в библиотеку бегаешь, вот и загляни

— Хорошо, — сказал я, поднимая глаза на отца. Он не выдержал моего взгляда, отвел глаза, потом погладил рукой по моим встопорщенным жестким волосам. Это было проявлением высшей степени ласки, на какую был способен мой отец, воспитанный в суровых условиях, сам родительской лаской не избалованный.

— Ну я пойду. Заходи. Продукты есть? Варит кто? Сам? — отец кашлянул и вышел из дому. И он и я понимали, что не пойду я в его новый дом и что новая встреча состоится нескоро. Я смотрел в окно на удаляющегося отца и вспомнил ту повозку, стол, повернутый кверху ногами, и та прежняя боль уколола сердце.

По моим расчетам мать должна была вернуться из Ленинграда из очередной поездки утром. Но прошел день, а ее все не было. Наступил вечер. Полная луна ярко освещала заснеженное наше поле. Тихо. Я дышу на замерзшее стекло и смотрю одним глазом в сторону шоссе. Жарко топится буржуйка, пышет теплом от ее красных боков. Под столом вздыхает Цыган, изредка ожесточенно выгрызая блох из поседевшей шкуры. Я читаю, но не понимаю смысла прочитанного. Все

мои мысли с матерью. Может где-то на дороге, далеко от жилья, поломалась оглобля, и мать мечется вокруг саней, не зная что делать. Она ни за что не бросит мерина и дровни — последний наш достаток, и вполне может замерзнуть. Я цепенею от столь дикой мысли. И снова дышу в стекло: мороз быстро покрывает его своими фантастическими узорами. И вот вдали показалось темное пятно! Оно сползает с шоссе на белую гладь искрящегося под лунным светом поля. С замиранием сердца стараюсь распознать: кто это? Человек, повозка? Пятно растет, оформляется, уже видны лошадиная голова, дуга над головой. Едет мать! Накидываю шубейку, выскакиваю на улицу, сопровождаемый Цыганом. Уже слышен скрип полозьев, тяжелое дыхание и всхрапывание уставшего коня, голос матери, понукающий его.

— Игнат, выпряги мерина, — замерзшими губами еле выговаривает мать. — Я погреюсь маленько. Мешки занеси в избу.

Я затаскиваю в дом мешки, потом распрягаю мерина, ввожу его в закуток, где недавно стояла Красотка — подаю мерину ведро воды. Он неохотно пьет, ноги его дрожат, голова опущена. Устал мерин, все же полсотни километров отмахал своими разбитыми ногами

старыми. Даю сена, овса засыпаю в торбу. Мерин вяло жует, словно по обязанности, дышит тяжело, впалые бока его ходят ходуном.

— Мама, мерин наш заболел, не ест, — высказываю я предположение.

— Из сил выбился, на дороге ухабы—горы. Отдохнет, поест, — успокаивает мать и начинает вынимать из мешков городские покупки. Мы пьем чай с баранками и постным сахаром. Мать неторопливо рассказывает о дорожных приключениях, посмеивается над своей коммерческой неопытностью.

— Совсем одичала на этом хуторе, — говорит мать. — К Нюрке шла и не заметила, как на рельсах очутилась. Иду, а сзади слышу звонок, обернулась — трамвай рядом! Вагоновожатый кулаком грозит, ругает меня: “Скобариха чертова! Кто ж по рельсам ходит!”

— А пальто Нюрке купили. Темно-синее, с каракулевым воротником. Ну королева наша Нюрка в новом пальто. Тебе сатину на рубаху привезла, ботинки “сороход”, “чертовой кожи” на штаны...

Как весело и уютно становится в доме, когда рядом мать. Потрескивают дрова в буржуйке, тоненько поет свою песню самовар на столе. Хорошо на душе. Как будто и не было страха и томительного ожидания. Все позади, а впереди

все будет лучше, устроенное.

Утром я пошел покормить мерина. Фонарь тускло осветил тесный хлев, остро пахло конским потом и навозом. Мерин лежал. Я поднес к его морде фонарь и мурашки побежали по спине. Мерин лежал, неестественно откинув ноги, желтые зубы оскалены, глаза закрыты. Я потрогал мерина за ухо, он оставался неподвижным: пал наш мерин. Я с плачем побежал домой.

— Мама, мерин подох!

— Пустое мелешь! — прикрикнула на меня мать, а у самой затряслись губы. Набросив на голову платок, она поспешила в закуток. Потрогала неподвижную голову коня, горестно проговорила:

— Отработал наш мерин... — Мать ушла, я долго стоял над павшей лошастью, припоминая подробности появления ее у нас, его ум, покладистый его характер. Вскоре после разгрома Юденича под Ленинградом, командир артиллерийской части, стоявшей в нашем селе, привел на наш двор тощего, словно скелет, мерина и сказал отцу: "Возьми лошадь, стрелить жалко, добрый конь, повоевал: на германском фронте, в гражданскую участвовал до конца. Конь, можно сказать, с заслугами. Может выходишь? Попашет еще. А нет, — татарам отдашь.

Идет?” Отец взял лошадь, выходил. Залечил отбитую холку, покрытую болячками, парил в каком-то составе ноги. Мерин постепенно оправился, покрылся жирком, стал потихоньку ходить в упряжке. А на хуторе пошел с плужком, точно всегда пахал землю. Мерин не боялся редких в те годы автомобилей. Иная лошадь, обезумев, разносила вдребезги телегу, а то и хозяина калечила, мерин же хладнокровно косил глаза на тархтевшую машину и спокойно проходил мимо. Но зато он панически боялся грома или удара в пустой таз. Мерин печально ржал и смешно подпрыгивал на одном месте, подкидывая тощий зад. Видно, коняге—воину припоминались жуткие картины былых сражений, стонущие в предсмертной истоме друзья — кони из одной упряжки...

Погоревав несколько дней, мать успокоилась, повеселела.

— Все — конец нашему хутору! — сказала .— Провались он, этот треклятый хутор! Не лежало у меня к нему сердце, потому, видно, и неудачи на нас навалились. Ты побудь дома, а я на разведку отправлюсь.

Через несколько дней она вернулась, таща на спине большущий мешок. Я с любопытством наблюдал, как мать развязывает мешок. Она извлекла из

него старую солдатскую шинель, какие-то потрепанные пиджаки, брюки.

— Заказов набрала. Перешивать буду, перелицовывать. Ничего, Игнат, проживем, и не хуже прежнего. Ты мне машинку швейную смажь хорошо.

Отныне у нас в избе с раннего утра до полуночи стрекотала машинка. Пол усыпан лоскутками тканей. Мать искусно перелицовывала старье, наглаживала, наводя лоск, и неизменно заслуживала благодарность от своих непривередливых заказчиков. Они платили деньгами, рожью, мясом. Всегда изнуренная, мать стала поправляться, даже помолодела, чаще пела, крутя ручку машинки. Полегче стало и мне. Я отлеживался с книжкой на печи, ходил на самодельных лыжах по лесу, изучая следы его диких обитателей.

Но когда кончились немногие заказы в ближайших деревнях, мать, прихватив машинку, отправилась в села подальше. И снова я оставался на хуторе один с Цыганом. Снова прислушивался к вою метели по ночам и читал при коптилке, читал, что попадет под руку; и “Прекрасную магометанку.” и “Фауста”, про “благородного разбойника Антона Кречета”, и горьковского “Фому Гордеева”, sentimentальные повести Лидии Чарской и полновесную прозу Льва Толстого. Я вслух разговаривал с героями

книг, спорил с ними, хвалил или порицал. Эти импровизации заменяли мне живых собеседников, а терпеливыми слушателями моих монологов были кот Васька и пес Цыган.

Мать страдала от сознания, что оставляет меня одного. Она приходила каждую неделю откуда-то издалека, приносила деревенские гостинцы: пироги с капустой, кусок сала, моченые яблоки. Она стирала мое ветхое белье, выкладывала новости. Как-то при очередной такой встрече мать показала мне конверт, залепленный хлебным мякишем.

— Дядя отца твоего пишет из смоленской области, — сказала мать. — Тебя приглашает пожить, отца ругает. Я вот долго думала: может тебе на годик поехать к нему? Учиться там станешь, там школа рядом, пишет дядя. А я тем временем попытаюсь переехать куда полюднее с хутора. Тогда и домой вернешься.

Я с радостью согласился. Куда угодно готов ехать, лишь бы уйти из этого опустылевшего леса, одиночества.

И я уехал. Но ни мать, ни я не предполагали, что не сможем долго жить друг без друга. Через месяц я снова был на хуторе. Казалось, хутор обладает сверхъестественной силой и удерживает нас у себя...

...Но сегодня я ухожу учиться в

школу-интернат. И я не вернусь на хутор, никогда не вернусь, я предчувствую это всем своим существом. Я медленно обхожу усадьбу, стараясь сохранить в памяти каждый ее уголок. Вот груда камней несостоявшегося скотного двора, полуразрушенная мазанка, хлев, в котором еще белеют кости бедного мерина. Нам с матерью было не под силу вытащить труп из хлева. Так и растащили его жилистое мясо той зимой деревенские собаки. Вот ель, высокая, словно башня. Я часто лазал по ее ветвям, добираясь, к ужасу матери, до самой верхушки. Сиротливо торчали кустики смородины, вишни, яблоньки в молодом саду. Мы с отцом высаживали эти кусты и деревья. Помню, как отец мечтательно говорил: "Отличный сад вырастет, у меня рука легкая. И ты яблок поешь, и твоим детям останется". Нет, не вырастет сад, батя. Так и зачахнет он здесь, никому ненужный, зарастет травой и наступающей из лесу ольхой, а яблони одичают. Усиливающийся дождь заставил меня вернуться в дом.

Прощай, хутор!



11. ДОРОГИ

— Стой, сделаем привал! — объявляет мать и направляется к большому, плоскому как стол, камню на краю дороги. Она снимает заплечный мешок, потом мне помогает освободиться от лямок моего мешка, полегче, садится на камень.

— ...”Как под каждым ей листком был готов и стол, и дом”, — шутливо декламирует мать, развязывая свой мешок. Достает краюху ржаного хлеба, пару яиц, бутыл с молоком. Нашлась и соль в тряпице. Все это мать разложила на камне, подстелив полотенце.

— Полтора часа топаем, устал небось? — заботливо спрашивает мать.

— Не-е, — тяну я, уплетая крутое яйцо и сладко пахнущую краюшку.

— Молодец, никогда не унывай, устал — не признавайся, — поучает мать.

—Жизнь, она слюнтяев не любит. Жизнь есть борьба. Так-то...Мы с тобой походили... и поездили...

Мать умолкает, деликатно жуя хлеб. Она задумчиво глядит на лес, словно видит там сейчас пережитое. А я с благодарностью думаю, что, действительно, с матерью всюду для меня и стол, и дом, и все на свете заменяющая материнская забота.

Походили, поездили. На долю матери, а вместе с нею и мне, выпало в жизни немало трудных дорог. После февральской революции отец с четырьмя ребятишками выехал из голодного Петрограда в Поволжье. По сведениям, там, на Волге, жили сытно. Осели в большом степном селе Ершово за Саратовом. Верно, хлеб в Поволжье был. Зажиточные мужики и немецкие колонисты, осевшие на местных черноземах еще при Екатерине, охотно брали пришлых на работу. Поначалу шло все так, как и предполагали мать с отцом, покидая Питер. Но то было грозное время наступления гражданской войны. Через село перекатывались толпы вооруженных людей: белые и красные, зеленые и мятежники чехословацкого корпуса. Они оставляли после себя расстрелянных коммунистов или восстановленные Советы, или разграбленные обществен-

ные амбары. Они оставляли вшей, окровавленные бинты и болезни. Два моих брата один за другим умерли от “испанки”. Потом мать и отец валялись в тифозном бреду, и уса́тый хозяин дома снимал с них мерку, готовясь сколотить гробы. Мы же с сестренкой были предоставлены самим себе. Сердобольные обитатели большого саманного дома, в котором мы жили, подкармливали нас, не давая умереть с голоду. А когда родители поправились, мать пошла батрачить, отца призвали в Красную армию.

Засуха, суховеи обрушились на благодатную черноземную землю Поволжья. Трескалась эта земля, была голодная скотина. Голод ворвался в села и города как-то внезапно, угрожающе-стремительно. Прямо-таки на глазах люди превращались в ходячие скелеты, или, наоборот, набухали от голода. Веселое многолюдное село опустело, притихло. Не слышно стало по вечерам нежного пиликания саратовской гармошки с колокольчиками, протяжных песен и задорных саратовских страданий. Все меньше снеди приносила мать от богатых хозяев. А потом и вовсе отказались от ее услуг. Последней пищей, съеденной нами в Ершово, были огромные черные верблюжьи кости, еле уместившиеся в котле суповом. Эти кости мать выпросила

у соседки, отдав взамен еще новые полусапожки. Жалостливо наблюдая, как мы с жадностью обгладываем кости, мать, похудевшая и почерневшая, сказала: “Завтра уедем отсюда в Питер. Остаться — умереть с голоду. В селе уже умирают.

Мы ехали в телячьем вагоне, набитом до отказа разным людом. Поезд то еле плетется, то набирает скорость. Поезда подолгу стоят на станциях. Пассажиры ломают заборы, станционные опустевшие склады: все это идет в ненасытную утробу паровоза. И снова стучат на стыках рельс колеса, и тянутся в жарком небе телеграфные провода. По дороге поезд оставляет на станциях, а то и просто в степи, пассажиров, изнуренных кровавым поносом, поваленных наземь смертельно жарким дыханием тифа. Казалось, все люди Земли бросили насиженные места и мчатся в обшарпанных, грязных вагонах куда-то на край света. Над этим ожесточенным, голодным потоком людей день и ночь стоит истошный крик, матерная ругань, вопли обворованных, плач матерей, потерявших в сутолоке детей или похоронивших их в горячей, как печная зола, земле. Вспоминаются переполненные вокзалы и привокзальные площади Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Москвы. Треск вшей под

ногами, яростный голос матери, проби-
вающейся на посадку. Вспоминаются
бесконечные разговоры о хлебе,
хлебушке, хлебце...Вспоминается желе-
зистый вкус черной дуранды, почти
единственной еды нашей в дороге.
Вспоминается голодный плач детей,
похожий на щенячье поскуливание,
страшное своей слабостью поскули-
вание...

С героизмом, присущим только
матерям, протащила меня с сестренкой
наша мать тысячи верст, и мы оказались
в притихшем, обезлюдевшем Петрограде.
Еще несколько часов тревог, езды в
пригородном поезде, и мы в родном селе.
Отец с подвязанной рукой вышел на
крыльцо, встречая нас. Его демобили-
зовали после тяжелого ранения. Морщась
от боли в ногах, мать вошла в дом, села
на стул и впервые за всю дорогу громко
заплакала, давая волю накопившемуся в
сердце горю, и от обид, перенесенных в
поистине крестном пути.

Дороги...Последний раз трясся я в
холодном вагоне зимой минувшего года.
В кармане краюха хлеба, несколько
помятых рублей и письмо дяди с адресом.
Он жил в деревне верстах в ста от
Смоленска. Дядя — инвалид первой миро-
вой войны, вместо левой ноги —
деревяшка. Он целый день сидит у

подслеповатого окошка и шьет сапоги, чинит изношенные. Большая безалаберная семья дяди, человека доброго, но слабохарактерного, встретила меня враждебно. Мне говорили прямо в лицо, что нахлебник и дармоед и что большая дура мать моя, отправившая сына за тридевять земель. Через месяц дядя, преодолевая крайнее смущение и стыдясь самого себя, сказал мне: “Мои—то тебя тут совсем заклюют. Они и меня-то... Поезжай, братец, обратно”. Он дал денег на дорогу, круглый каравай пеклеванного хлеба, проводил до станции. Прощаясь, подбодрил: “Две ночи, два дня — и дома. Напиши сразу как только приедешь”.

Утомленный, я уснул сразу, как только очутился в вагоне. Каравай хлеба у меня выкрали. Ехал голодный. В Ленинграде — злой, пронзительный февральский ветер. Мерзнут руки без варежек, мерзнут ноги в рваных скороходовских ботинках. Остывший от голода, я равнодушно подумывал, что, возможно, замерзну сегодня, как только слезу с поезда в Красном Селе. До хутора нужно шагать еще двадцать километров. Как во сне промелькнули станции Лигово, Горелово. Прихожу в себя уже на Нарвском шоссе, пустынном, пересеченном укатанными до блеска стеклянными ухабами. Стемнело, когда я про-

ходил по селу, где жил мой отец, Я невольно остановился возле его дома, заглянул в ярко освещенное окно. Отец склонился над письменным столом и что-то быстро писал. Он на мгновение оторвался от бумаги, пристально взглянул в окно на темную улицу. Я весь сжался, испугавшись, что отец увидит меня. Может зайти? — мелькнуло в голове. — Обогреюсь, поем чего-нибудь?" Нет, меня ждет мать. Стиснув зубы, я зашагал дальше, скользя и спотыкаясь в разъезженных колеях. Дорога уходила в густой темный лес. Он тянется до самого хутора. Тихо. Только слышен скрип снега под моими башмаками.

Чем ближе хутор, тем сильнее одолевает меня страх: вдруг матери нет дома? Так может случиться, ведь она не знает, когда я точно приеду. Последний километр я бежал бегом. Далеко-далеко на нашей усадьбе маленькой звездочкой горел огонь — Мать дома! Я бегу целиной по полю, не разбирая дороги, бегу и слезы струятся по щекам. Я плачу и от боли в замерзших руках и ногах, от радости, плачу от всего пережитого. Недалеко от дома я упал в снег лицом, я с ужасом чувствую, что не найду больше сил подняться. Слабым голосом зову мать. И она услышала, простоволосая, она выбежала из дому, схватила меня, внесла,

словно маленького, в избу. Я смеюсь и плачу от нестерпимой ломоты в ногах и руках. Они опущены в холодную воду. Растирая мои ноги, мать со слезами ругает себя ругательски, что отпустила “к тому пустозвону”: “Знала я его, дядьку. Свистун, каких на свете мало. Фантазер. И вот, поди ты, послала тебя. Ну, теперь я тебя никуда от себя далеко не отпущу. Никуда!”

Но вот пришло время нам расставаться, и надолго. Сегодня мать провожает меня в школу-семилетку, школу крестьянской молодежи, сокращенно ШКМ. Там я буду жить в интернате. В школу эту попасть трудно, желающих много. Помог матери устроить меня наш старый знакомый, директор ШКМ, Владимир Петрович Широков. Бывший подпольщик, участник революции в Петрограде, а потом в Эстонии, Широков, эстонец по национальности, в свое время работал в райисполкоме вместе с моей матерью. Широков — партийная фамилия Владимира Меца в годы Петроградского подполья — сохранилась за ним. Мать с глубоким уважением говорила о Широкове, не раз поучала меня: “Вырастешь, стань таким, как Владимир Широков. И тогда люди скажут о тебе: настоящий человек”.

— Ну вот, подзакусили маленько,

теперь — в путь! — сказала мать, собирая остатки пищи и укладывая в мешок. Она по застарелой привычке давно болеющего человека, поохав, поднялась, забросила за плечи мешок и зашагала по дороге, усыпанной сухими желтыми листьями. Скоро дорога пошла в гору.

— Дятлицкая гора, — совсем молодым голосом произнесла мать. Мы, пыхтя, с трудом поднялись на лысую макушку горы. У подножия ее — хаотическое нагромождение замшелых валунов. Я бывал здесь раньше с отцом. Он пояснил мне, что тысячи лет назад в этих местах остановился ледник, сползавший со Скандинавского полуострова. Ледник и напахал этот земляной вал—гору, тянувшийся на восток и запад на многие десятки километров. Ледник притащил сюда из Скандинавии камни, отшлифовав их на пути. Лед стоял, валуны остались лежать у земляного вала. Я попытался было пересказать слышанное от отца, но мать не слушала, с жадной пытливостью она рассматривала открывшуюся с горы картину огромного поля, словно заплатками испещренного полосками пашни, разделенными широкими межами. Это наделы крестьян села Дятлицы, избы которого виднеются вдали. Над серым скопищем их высится зеленый купол церкви и белая башня колокольни.

Выглянуло солнце и засверкало золото церковных крестов, ожили краски полей и осеннего леса. Волнение матери понятно мне. Дятлицы — родное село ее. Среди серых изб где-то изба ее родителей, в которой она выросла. И поля эти все ей знакомы, исхожены. Всматриваясь, мать радостно говорит, указывая рукой:

— Вон он, береза стоит в поле. Возле березки наш надел. Девчонкой когда была, жала там рожь, овес. На эту гору бегали с подружками. Фиалок много тут растет. Хорошо пахнут.

Церковь...В ней я венчалась с отцом. Батюшка, старенький такой, венчал—Хор пел на клиросе. Я в молодости тоже пела в церковном хоре. Голос у меня звонкий был, — растроганно говорила мать.

— В церковь петъ ходила! — фыркнул я недовольно. В нашей семье все были убежденные атеисты, и мне претили эти сентиментальные воспоминания о церкви. К тому же я пионер! Мать догадывалась о моем душевном состоянии.

- Дурачок ты, Игнашка, — ласково говорила она. — Я же молодая была, молодость свою вспоминала, ну и церковь. Из песни слова не выкинешь. А бог? С богом я давно не в ладах..

К Гостилицам подходили, когда начало смеркаться. Показались белые приземистые здания хозяйственных пос-

троек бывшего имения. Из-за вершушек деревьев старого парка виднелись зубцы башни баронского дворца. Мать продолжала рассказывать о прошлом, тяжело шагая рядом:

— Барон тут жил до революции, немец. Богатейший помещик был. На него и я батрачила в молодости. По двугривенному платил за день. А день-то десять часов тянулся, бывало спины не разгибаешь, жнешь.

— Где он?

— Кто? Ах, барон. За границу бежал с Юденичем.

Я слушал мать и кипел от негодования: мою мать эксплуатировал какой-то барон, немчура. От такой мысли горело сердце, жгло его огнем недетской ненависти.

— Паразит!

— Кто? — удивлялась мать.

— Да барон тот! Хорошо, что сбежал, что нет таких баронов, — размышлял я.

— И верно — хорошо! — соглашается мать.

Миновали кованые ворота с баронскими вензелями и очутились на широкой круглой площади, обсаженной липами. Над площадью высился двухэтажный дворец со знакомой зубчатой башней. С противоположной стороны — одноэтажные каменные здания — жилье

бывшей челяди барона, занятые ныне школой первой ступени под квартиры рабочих.

Мы подошли к высокому гранитному крыльцу дворца, когда уже совсем стемнело и в некоторых окнах зажглись непривычные для меня электрические лампочки. Мать подергала массивную медную ручку, дверь не поддавалась. Тогда она стала стучать. Через несколько минут дверь приоткрылась и в образовавшуюся щель просунулась голова старика с нерусским лицом.

— Нельзя, — бесстрастно промолвил старик, придерживая дверь.

— Как нельзя! Я сына в школу привела! — возмутилась мать.

— Два дни рано пришла. Никого нет, — бормотал старик, потянув дверь на себя, чтобы закрыть. Мою мамашу это заявление окончательно вывело из себя. Она так рванула дверь, что старик очутился на крыльце. Схватив меня за руку, мать вошла в вестибюль, не обращая внимания на озадаченного таким оборотом старика.

— Два дни... — возмущалась она. — Я тебе покажу, старый гриб, “два дни”, помнить будешь долго! Где директор?

Старик догнал мать, схватил ее за руку.

— Ай-ай, нехорошо. — приговаривал

он укоризненно.

— Прими руку, старый черт! — отмахнулась мать. — Мы не по Невскому прогуливались, верст пятнадцать оттопали, а он — два дни. Спятил что ли?

На шум из боковой двери вышла женщина в черном.

— Что произошло, Кузьмич? — мягким грудным голосом спросила она.

— Вот, нахально... — начал старик.

— Не верещи, — властно сказала мать, и — женщине, уже другим, вежливым голосом: — Вы учительница? Нам бы Владимира Петровича.

— Его сейчас нет. Вы сына привели? Я завуч.

— Вот и хорошо, — подтолкнула меня мать.

Я поклонился.

— Проходите, приветливо пригласила женщина, открывая дверь. Мы вошли в просторную круглую комнату с высоким сводчатым потолком. Из центра потолка свисала люстра со множеством стеклянных висюлек. К люстре подвязана маленькая, тускло горящая лампочка. В огромном камине, отделанном мрамором, потрескивая, горели дрова, освещая узорчатый, кое-где выщербленный паркетный пол.

Только что грубо осадившая сторожа мать вела учтивый разговор с

завучем, уже называя ее по имени отчеству — Мария Андреевна. Речь шла о погоде, о дороге, а больше о моей особе. Не жалея красок, мать расписывала мои достоинства, по-моему несколько хватая через край. И начитан—то я, и рисую, и стихи пишу.”Отец его тоже пишет стихи. Может читали? В “Крестьянской газете” печатался, в журнале Красная деревня”...

— Значит будешь хорошо учиться? — обратилась ко мне Мария Андреевна.

— Постараюсь, — не очень-то уверенный в этом пробормотал я.

Женщины плели кружево непринужденной беседы, перескакивая с одного предмета на другой, а я рассматривал диковинную комнату. Весь этот дворец с зубчатой башней, эта сводчатая комната с камином напоминали мне прочитанные книги о рыцарях и средневековых замках. Казалось, вот-вот откроются массивные двери из красного дерева и в сводчатую комнату войдет рыцарь в шлеме и латах. И дверь бесшумно открылась, на пороге остановился сторож, предупредительно покашливая.

— Ты что, Сергей Кузьмич, — спросила Мария Андреевна.

— Сено...Матрас...— глухо проговорил старик, глядя куда-то в угол комнаты.

— Ах, да, заговорились, — усмех-

нулась Мария Андреевна. — Идите, набейте сеном матрас для сына.

Туго набитый матрас сторож помог нести в комнату на втором этаже, где мне предстояло жить. Мне досталась двухметровая железная кровать, застланная досками. Какой-то гигант спал на этом железном ложе. Мать постелила постель, накрыла серым суконным одеялом. Мать поцеловала меня в макушку, наказала — чтоб не баловался, не скучал, и отправилась в обратный путь. Она заночует в Дятлицах, у родственников. В окно я видел согбенную фигуру тяжело шагающей матери; вот она завернула за угол зданий и пропала в сумерках. Я представлял, как далеко еще идти ей по пустынной дороге, стало жаль мать, в горле запершило и невольно навернулись слезы.

Справившись с волнением, я осмотрел внимательно комнату. Просторная, с трехконным эркером, с несколькими дверями. В углу большая круглая железная печь, в топке догорали дрова. Возле печи простая скамья. Длинный стол на козлах занимал середину комнаты. Вдоль стен, с двух сторон, стояли разностильные кровати, застеленные, как и моя, не строганными досками. Тускло горела, подмигивая, электрическая лампа под жестяным конусом-абажуром. Хотя и привык я к

одинокости, но здесь, в незнакомой обстановке, перспектива ночевать в этой неуютной комнате одному казалась мне довольно мрачной. Я уже собирался юркнуть под одеяло, укрыться с головой и попытаться заснуть, как дверь скрипнула и в комнату вошел сторож Сергей Кузьмич. Он нес охапку березовых дров, свалил их возле печи, присел на лавку. Он вытащил из кармана брезентовой куртки несколько крупных картофелин и положил их на угли. Потом раскрутил самокрутку. В комнате знакомо запахло дымком крепкого самосада. Он взглянул на меня из-под нависших черных бровей, сказал миролюбиво:

— Иди, парень, садись, — похлопал по скамье рядом с собой. — Не сердись на меня. Служба.

Я послушался, сел рядом со стариком. Из топки шло приятное тепло, пахло вкусно печеной картошкой. Старик вытаскивал картофелины, клал на скамью.

— Ешь, — приговаривал, и сам, обжигаясь, лакомился картошкой. Ел и я, и веселел. И думал, что старик Кузьмич не такой уж сердитый и плохой человек, как я решил при первой встрече. Мне не хотелось, чтобы он уходил, не хотелось оставаться одному.

— Теперь спи! — сказал Сергей Кузьмич, поднимаясь. — Завтра на работу

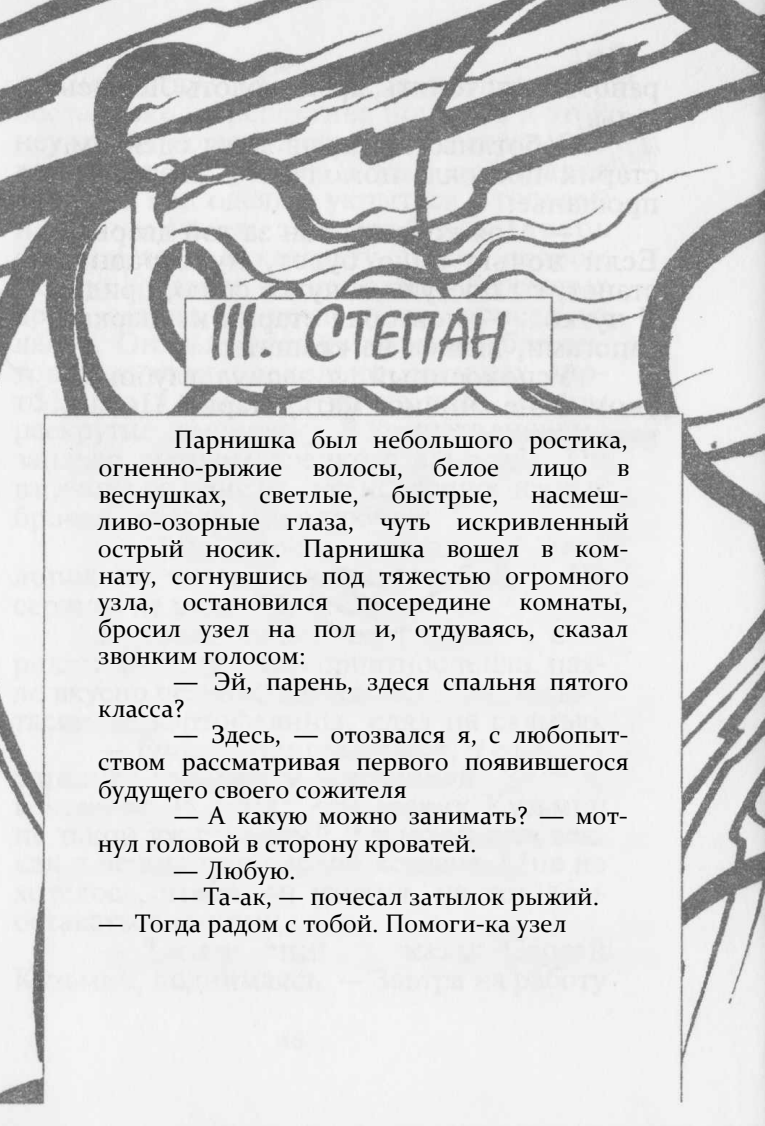
рано. Печки топить, дрова колоть. Ложись и ты.

Заботливо прикрыв меня одеялом, старик постоял, помолчал и сказал на прощанье:

— Моя комната вон за той дверью. Если ночью надо будет, ну страшно станет, ты постучи, я чутко сплю, приду. Я чутко... — повторял старик и, шаркая сапогами, вышел из комнаты.

Успокоенный, я заснул глубоким сном. Мне снились мать, старый Цыган, наш хутор...





III. СТЕПАН

Парнишка был небольшого ростика, огненно-рыжие волосы, белое лицо в веснушках, светлые, быстрые, насмешливо-озорные глаза, чуть искривленный острый носик. Парнишка вошел в комнату, согнувшись под тяжестью огромного узла, остановился посередине комнаты, бросил узел на пол и, отдуваясь, сказал звонким голосом:

— Эй, парень, здесь спальня пятого класса?

— Здесь, — отозвался я, с любопытством рассматривая первого появившегося будущего своего сожителя

— А какую можно занимать? — мотнул головой в сторону кроватей.

— Любую.

— Та-ак, — почесал затылок рыжий.

— Тогда рядом с тобой. Помоги-ка узел

подтащить, устал как собака, — сказал рыжий, сам же оставаясь сидеть на лавке, зорко поглаживая на меня.

— Сам подтащишь, — хладнокровно ответил я, хотя сердце заколотилось от раздражения. По опыту знал: стоит наглому уступить раз, он потом оседлает тебя и будет долго ездить. “Не на того попал”, — злорадно подумал я.

— Да я понарошке, — деланно рассмеялся рыжий. — Сила у меня еще имеется. Вот, потрогай, — он согнул в локте руку и подошел ко мне, чтобы я потрогал его бицепсы. Потрогал. Рука крепенькая.

— Давай знакомиться, — протянул руку рыжий. — Степан Малофеев. Тебя как?

Я назвал.

Степан развязал узел, вытаскивал из ряда вещи, рассказывая о себе, о семье. Оказывается, он из Дятлиц. Я намекнул, что моя мать тоже родом из Дятлиц. Степан обрадовался:

— Кузовы? Тетя Катя? Да о ней моя мать часто вспоминает: подружки были в молодости. Выходит, мы почти родственники с тобой!

В свою очередь я тоже был рад такому счастливому совпадению. И я, верно, ощутил некие родственные чувства к Степану. Тот сбегал на улицу, набил

матрац сеном, уложил его на соседнюю с моею кровать, укрыл толстым ватным одеялом, затолкал ногой под кровать старую корзинку с пожитками и сказал:

— Ты тут, наверно, все разузнал?

Ответил, что не выходил из дома.

— Э-э, так не годится! И не ел ничего? Тут столовка мировая, пошли. Я в Гостилицах бывал, знаю тут. Пошли.

Степан уверенно вел меня по парку, мимо церкви, огороженной высоким металлическим забором. Столовка располагалась в бывшем поповском доме.

— Ты тут постой, а я пойду поразузнаю, — и Степан юркнул в открытую в столовую дверь. Оттуда вкусно пахло чем-то аппетитным. Показавшись в проеме дверей, он помахал мне рукой.: “Иди сюда”. Через пару минут мы сидели за длинным столом и уплетали пшенную кашу с маслом. Степан называл кухарку, подававшую нам кашу, тетей Настей, хвалил кашу.

— Ты давно знаком с тетей Настей? — спросил я, когда мы, покушав, покинули столовку.

— Какой давно! Вон спросил у того мужика, что навоз возит из хлева, он назвал имя, — пояснил Степан. И добавил по-взрослому нравоучительно:

— К людям подход нужен, Игнат.

Ласковый теленок двух маток сосет. Идем-ка, я тебе парк покажу. Интересно!

Мы шли по разноцветному ковру опавших листьев. Бурые, оранжевые, красные, желтые, коричневые краски осени гребли ногами, вдыхая свежий воздух, приправленный горчинкой увядания. В парке стояли столетние дубы, липы, ясени, могучие березы. Парк пересекала быстрая речка, перегороженная в нескольких местах плотинами. В этих местах разлились обширные озера. Искусственные водопады, гроты, горбатые каменные мосты, стилизованные под средневековые зубчатые сторожевые башни, и даже скалы, покрытые зеленым мхом. Сказочный мир!

— Красота! — хвалил Степан. — А дворец! Чудо! Отжил помещичек во дворце, теперь мы хозяева. Давай дворец осмотрим?

Долго бродили мы по комнатам и залам баронского дома. На первом этаже — высокие лепные потолки. Попорченный паркет, побитые стекла в окнах. Многие комнаты засорены сеном и всякой дрянью, оставшейся здесь со времен гражданской войны. Но сквозь запустение это проглядывала былая роскошь. Поднялись по скрипучим деревянным ступеням винтовой лестницы на угловую башню дворца. Отсюда открывался

великолепный вид на окрестности. Зеркалами сверкали под осенним солнцем парковые пруды и речка, просматривались узкие улицы деревни, жмущейся к высокому каменному забору, отделявшему усадьбу бывшего помещика от убогих деревенских изб. И кругом синели леса...

Долго стояли молча, запечатляя в памяти открывшийся с высоты такой прекрасный большой мир. Степан протянул мне руку и взглянул твердо мне в глаза своими светлыми, как эти озера, глазами:

— Знаешь что — будем корешами.

— Корешами? — переспросил я, взяв Степана за руку.

— Ну да, товарищами, значит. Это по-матросски. Мой батя военмор был, на Балтике служил. Погиб во время Кронштадтского мятежа. Большевик был мой батя. — Степан вздохнул. — А твой отец? Жив?

— Жив, — пробормотал я, не желая распространяться об отце. Впервые я ощутил чувство неловкости и стыда за отца, за самого себя, чувство незаслуженной обиды.

— А мой погиб, — повторил Степан. — Карточка осталась, бескозырка...

За день, который мы провели со Степаном, он открывал мне все новые

черты своего характера. И кое-что не нравилось мне, хотя, в основном, я принимал этого парнишку за человека стоящего. Мне, например, понравилось, как он быстро сходилась с людьми, я удивлялся этому и немного завидовал, тяготясь своей излишней застенчивостью.

Степан, как белка, залезал на любое дерево, хорошо знал названия трав и деревьев. Вызвавшись помогать Сергею Кузьмичу колоть дрова, ловко, с лихим хаканьем, разваливал чурки тяжелым колуном. И пила ровно ходила в его крепкой, с бугорками мозолей, руке и не виляла, как у неумех, не раздражала напарника. Не понравилась мне заносчивость Степана. Неужели правду говорят, что рыжий человек — злой и вспыльчивый? По пути в столовку, — мы торопились на ужин, обещанный кухаркой, — повстречались с такими же, как мы, подростками.

— Подраться бы... — Степан приостановился, хищно взглянув на ребят. — Всыпем гостилицким?

— За что их бить? — удивился я.

— Пусть не ходят по нашему двору.

— нашелся Степан.

— Не буду я драться.

— А еще корешом назвался, — укорил меня Степан, с сожалением наблюдая, как парнишки уходят вглубь

парка, учуяв, наверное, агрессивное настроение моего товарища.

— Пионеры не дерутся, — оправдывался я, сожалея, что авторитет мой немного пошатнулся в глазах Сепана.

— Ты — пионер? — спросил он. — А меня мать не пустила. Значит, не дерутся пионеры? А если нападет кто? Другую щеку подставлять?

— Если нападут... — неуверенно произнес я. И верно, как в таком случае быть?

— Вот видишь, — рассмеялся, довольный, что завел меня в тупик. — А как дашь сдачи, если не умеешь? Учиться надо! Я ведь дерусь не по злобе, понарошке...

Старый дворец гудел как улей. Целый день наша школа пополнялась вновь прибывшими. У гранитного крыльца неспеша кормились с торбами на мордах разномастные крестьянские лошаденки, впряженные в телеги, шарабаны, пролетки, коляски с кожаным верхом. На них приехали мальчики и девочки в сопровождении родителей из дальних деревень, сел и хуторов. Родители по-крестьянски обстоятельно знакомились со школой, осматривали мудреной постройки здание, давали последние наставления своим Маняшкам, Петрам, Серегам...

В нашей спальне уже все места

заняты. Многолюдие меня, привыкшего к одиночеству, угнетало. Шум, смех, молчаливая потасовка в углу из-за не поделенной кровати. Все это меня не пугало, наоборот, было интересным и значительным. Несмотря на мелькание лиц перед глазами, скороговорку имен, произнесенных обладателями этих курносых и остроносых, конопатых, добродушных и хитроватых физиономий, я довольно быстро стал разбираться, кому они принадлежат. Правда, мне здорово помогал Степан, быстрее меня схватывающий все на лету.

В углу, за печкой, сразу у входной двери устроился коренастый, лет четырнадцати, подросток. Он назвался Николаем Гавриловым. Скуластое лицо, небольшие серые внимательные глаза. По сравнению с другими он казался почти взрослым, с таким достоинством он держался. Гаврилов аккуратно застелил кровать, уложил “на уголок” подушку в белоснежной наволочке, задвинул под кровать фибровый чемодан с медными застежками. По сравнению с нашими скрипучими корзинками, сундучками и самодельными фанерными чемоданами фибровый представлялся нам очень шикарным. Каждый обитатель комнаты посчитал необходимым потрогать гладкий бок фибрового чемодана и высказать свое

восхищение.

— Заграничный, наверно? — спрашивали Гаврилова.

— Советский, наш, — пояснил Гаврилов. — В детдоме подарили, когда уезжал сюда. Мы такие в своей мастерской делали.

— Сам детдомовский?

— Десять лет пробыл. В Петергофе, — отвечал Гаврилов охотно, прибавая к стене полочку для мыла и зубной щетки.

Узнав, что Гаврилов детдомовский, мы прониклись к нему особенным чувством уважения и сочувствия. Как ни хорошо в детском доме, он никогда не заменит семьи, родителей, отцовского дома. Я-то особенно понимал это, хотя и лишился только отца. Гаврилов не принимал участия в общей ребячьей суматохе, беззлобных перебранках, подначиваниях. Он хладнокровно поглядывал на всех, делая свое дело. Только однажды я заметил на лице его недовольство, когда перед его кроватью шустрый паренек дважды опрокинул табурет. Оба раза Гаврилов поднял табурет. Шустроу, видно, понравилась его проказа. Он снова мимоходом поддел табурет, он с грохотом покатился по паркету. Гаврилов нахмурился, стиснул зубы, аж побелели желваки на скулах, ловко схватил паренька за шиворот и проговорил глухо:

— А ну, поставь на место...

— Чего ты... — занял паренек, оглядываясь на товарищей. Он прибыл в школу в группе ребят из села Ропши, ребят заносчивых и дружных. Верховодил в этой компании высокий, ладно сложенный парень Алешка Алтынов. К нему и адресовал свое щенячье нытье провинившийся шустрик. Алтынов, занимавшийся ревизией своего зеленого сундучка, окованного железными полосками, неторопливо поднялся с места, подошел к Гаврилову этакой походочкой бесстрашного человека. Все с любопытством наблюдали, ожидая, что произойдет дальше.

— Не тронь пацана, — приказывающим тоном произнес Алтынов, выставляя вперед левое плечо и сжимая кулаки.

— Пусть поставит, — спокойно отозвался Гаврилов и смело впился глазами в глаза Алтынова. Так и стояли они, словно молодые петухи, следя друг за дружкой настороженными злыми глазами. Мы по опыту знали: кто—то должен хоть немного уступить, хоть и скрыть, что уступает, от всех остальных. Или произойдет драка. Прикидывали шансы обоих. Об этом, наверно, подумал сейчас и притихший виновник ссоры. Но вот на лице Алтынова мелькнула

снисходительная улыбка. Тень улыбки тронула тонкие губы Гаврилова. Поединок обещал закончиться благополучно, это с облегчением поняли все. Так оно и вышло. Алтынов примирительно рассмеялся, дернул за вихор шустрого приятеля.

— Будешь еще хулиганить, Кауров, получишь по шее, — пообещал Алтынов. Кауров проворно поднял злополучную табуретку и скрылся из комнаты.

Молниеносно возникающая и потухшая ссора не прошла бесследно для всех обитателей комнаты. С мальчишеской прозорливостью мы определили: в нашем зарождающемся коллективе наметились два лидера. Каждый вольно или невольно прикидывал: к какому из них примкнуть? Не такая уж простая наука — принять в такой ситуации единственно правильное решение, как это иной раз представляется взрослому. Конечно, не всякий жаждет покровительства лидера и его сторонников, многие будут отстаивать самостоятельность и сохранять ее. Догадываюсь, что Степан, например, станет по мере надобности искать союзника, но не покровителя. Его непокорная натура не терпит покровительства, я сразу это понял. И здесь наши характеры сходятся.

В тот день нашу комнату посетила Мария Андреевна. Она предложила нам избрать старосту спальни. Назвали сразу

две фамилии: Гаврилова и Алтынова. При голосовании больше рук поднялось за Гаврилова. Алтынов презрительно хмыкнул, что означало: "Очень мне нужно!". Гаврилов принял назначение равнодушно, по крайней мере внешне. Он тут же заставил Каурова подметать пол, что тот сделал с неохотой, но умело.

Гаврилов оказался большим аккуратистом. Он написал красивым почерком список обитателей нашей комнаты, озаглавив: "Расписание дежурства по общежитию. Первым в списке числился Алтынов.

— Почему я первый? — спросил Алтынов, кривя губы.

— По алфавиту. Я вот — третий... — пояснил Гаврилов.

— А если я не стану дежурить, что тогда? — в голосе Алтынова вызов.

— Пойдешь объясняться к директору, — равнодушно пояснил Гаврилов.

Алтынов покраснел, оскорбленный равнодушием вновь испеченного старосты, но сдержался, ничего не сказал.

Вечером Алтынов вытащил из мешка привезенную из дому балалайку. Пощипал струны, настраивая, и ударил плясовую. Музыканта мигом окружила ребятня. С восхищением слушали все мастерскую игру. Алтынов же с подчеркнутым равнодушием завязного дере-

венского виртуоза, не глядя ни на кого, играл все новые пьесы. Подошел и Гаврилов.

— Как? — с восторгом спросил у него Степан, подтолкнув плечом.

— Хорошо играет, — похвалил Гаврилов.

— Мирowo! — воскликнул Степан. — Буду просить, пусть меня научит. Я маленько бренчу. Падеспань умею, падекатр, барыню, вальс...

— Какой вальс? — спросил Гаврилов.

— Ну вальс, не знаешь что ли?

— Вальсы бывают разные, — сказал Гаврилов и отошел в сторону.

— Завидует, — мигнул мне Степан, указав на Гаврилова.

Музыкальный талант заметно повысил шансы Алтынова на лидерство. Тот понял это и торжествовал. Заметив, что соперника нет в комнате, он сразу оборвал игру и, несмотря на уговоры “сыграть еще что-нибудь”, повесил балалайку на гвоздик над своей кроватью.

Между тем школа властно вовлекала нас в свой твердый и разумный распорядок, не оставляя времени на переживания по части соперничества двух наших намечающихся вожаков. Да и тем не до того было. Их тоже волновала неизвестность, новизна предстоящей

трудной учебы и жизни. И в этом смысле они были равны со всеми.

Учебный год начался общим школьным собранием. Нам, пятиклассникам, отвели самое просторное помещение — роскошный зал-гостиную на первом этаже дворца. Гостиная отделана панелями под красное дерево. Уцелели бархатистые обои цвета морской волны. Красным деревом же отделан кессонный потолок. Дно кессонов мозаичное. Мраморный камин с высоким порталом, паркетный пол довершали интерьер гостиной. Простые столы, скамьи из дерева, классная доска на вертушке казались в этом помпезном зале просто неуместными, как и покрытая жестью черная круглая печь. Все сто двадцать учеников школы уместились сегодня в просторной гостиной. За маленьким учительским столиком президиум. Председательствует лет семнадцати парень — эстонец, краснощекий, белокурый. Он изящно взмахнул рукой, призывая к вниманию. Мы уже знали парня. Он ученик седьмого класса Карл Клаус, председатель школьного совета. С чуть заметным акцентом он произносит:

— Слово предоставляется директору школы Владимиру Петровичу Широкову.

Директор подошел к столу, окинул внимательным взглядом притихший зал.

Четко и звучно произнося каждое слово, директор сказал:

— Сегодня мы начинаем новый учебный год. Ребята из шестого и седьмого классов — народ обстрелянный. Они знают распорядок жизни школьной, ее традиции. И потому я обращаюсь поначалу к пятиклассникам: помните, ребята, вы пришли сюда получить знания, а потому старательно, не жалея сил, грызите гранит науки.

По залу прошелестел смешок

— В нашей школе нет гувернеров и гувернанток, нет и классных дам (снова смешок). Будете сами себя обслуживать: мыть полы, готовить в столовой, ухаживать за нашими школьными коровами, свиньями, лошадьми. Знакомы с такими делами?

— Знакомы! — дружно и весело хором отвечают из зала.

— Я так и думал, что вы все тут не белоручки. И еще. Это уже относится ко всем. Наше школьное здание требует ремонта. В революцию кто-то слишком буквально понимал лозунг “Мир — хижинам, война — дворцам”. Остались в этом доме еще сломанные рамы, двери, искорверканный паркет. Дворец этот наш, мы его полновластные хозяева. Нам его беречь и ремонтировать. Все согласны со мной?

— Согласны! — дружно кричит зал.

— Наша школа в нынешнем году резко помолодела, — продолжал директор, улыбаясь. — Ну прямо живая диаграмма! Посмотрите, — провел он рукой. Заулыбались учителя, сидящие на почетных местах возле президиума, заулыбались, зашептались ребята. И верно: над двенадцати-тринадцатилетними девочками и мальчишками возвышались на задних партах старшекласники — парни и девицы лет семнадцати—девятнадцати. Крепкие, возмужавшие на тяжелой крестьянской работе, они казались совсем взрослыми по сравнению с нами, мелкотой.

— А что помолодела школа — это хорошо, — продолжал директор. Значит, детвора в нашей республике молодой сейчас идет учиться вовремя, не как их старшие товарищи. Те вынуждены были пережить грозные годы революции и гражданской войны. Не до учебы было во многих наших семьях. Выступали старшекласники, учителя. Избрали новый школьный совет. Я впервые в своей короткой жизни участвовал в голосовании, и сердце мое исполнялось гордостью. Сознание, что и мое соображение нужно на этом собрании, и мою руку подсчитали счетчики, возвышало меня в собственном мнении, рождало хорошее чувство достоинства.



IV. ПЕРВЫЕ УРОКИ

Нас за партой трое: я, Степан и эстонец Керт Валентин, аккуратный, благословитанный парнишка в бархатной курточке. У него розовое продолговатое лицо, серые ласковые глаза и белые, словно седые, волосы. Мы пишем свой первый диктант. За учительским столом преподавательница русского языка и литературы Зинаида Александровна Эйзенштейн, полная женщина с большими выпуклыми глазами, с трудным астматическим дыханием.

“...ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык... Но нельзя верить, чтобы такой язык не был бы дан великому народу!”

— Тургенев... А что он написал? — спрашивает учительницу Степан, дописав последнюю строчку.

— Он написал много книг, ребята. Романы, повести, рассказы... — говорит Зинаида Александровна, — Вы их прочтете. Рассказ “Муму”, надеюсь, все читали? — обращается ко всему классу учительница. — Кто читал, поднимите руку.

Многие подняли руки. Степан с некоторым замешательством, но тоже поднял. Меня толкнул плечом:

— Ты взаправду читал?

— Конечно.

— А я нет. Ты мне на перемене расскажи про “Муму”, — попросил Степан.

— Ты почти лучше, — посоветовал я.

— Потом прочту, — не очень уверенно пообещал Степан.

— “Поддержка” с двумя “д”, — шепчет Керт, заглянув в мою тетрадь.

Я торопливо вписываю второе “д”.

Перерыв в учебе повредил мне. Я отвык от систематических занятий. Многое перезабыл. К моему стыду, забыл даже написание некоторых заглавных букв. Керт тактично помогал мне, не выказывая по поводу моего невежества никакого удивления. Но Степану он довольно резко

заявил на перемене:

— Врать нехорошо.

— А что я вру? — взъерошился Степан.

— Поднял руку — читал “Муму”, — а сам не читал.

— Подумаешь! — беспечно протянул Степан и вприпрыжку убежал от нас гонять футбол на площадке перед школой.

Мы присматривались, привыкали друг к другу, к учителям. С живейшим интересом выслушивали оценки старшеклассников преподавателям, директору, завучу. Дни складывались в недели, мы втягивались в школьную жизнь. Все дальше в прошлое отходили хутор, хозяйственные заботы, горечь одиночества. Все реже вспоминал я о матери, чтобы не тревожить душу, а она присылала мне короткие ободряющие письма со старомодным твердым знаком и ятью.

Да, признаться, на воспоминания мало оставалось времени. Обычно школа просыпалась в шесть тридцать утра. Но сегодня старший дежурный по скотному двору поднял меня в четыре. Старший — ученик седьмого класса семнадцатилетний Иван Шемякин. Широкогрудый, с крепкими мужицкими лапищами. Он стягивает с меня одеяло, приговаривая:

— Пора на дежурство! Хватит спать!

Полусонный, вскакиваю, бегу в

коридор к умывальнику, быстро одеваюсь. На улице морозно, бело от первого снега. На крыльце меня поджидает Шемякин и трое других дежурных.

— Что, замерз, малыш? — участливо спрашивает Шемякин. И хотя меня ужасно знобит со сна, храбро отвечаю: “Ничего”. Да и что иное я могу сказать, когда в группе дежурных моя одноклассница Катя Бочарова. Да и перед моим врагом Колькой Кауровым не хочется признаваться в такой непростительной для деревенского мальчишки слабости. Колька всю дорогу к скотному двору сердито ворчит что-то под нос, кашляет и ожесточенно сплевывает. Колька Кауров, как кошка, любит тепло. У нас в классе с наступлением зимних морозов чернила застывают, и мы все сидим в пальто. Во время перемены все бегут к спасительной теплой печке, прижимаются к ее черному блестящему цилиндру. Кауров сидит на последней парте возле самой печи. Ему и так тепло, и одет он в теплое пальто с каракулевыми воротником. Но Кауров первым прижимается спиной к печке. Я сижу на первой парте и всегда запаздываю занять место у печки. Иногда прошу Каурова: “Подвинься немножко, дай погреться”. Кауров смотрит на меня нагловатыми вострыми глазами и молча сопит. Тогда, отбросив

вежливость, я пытаюсь оттолкнуть Каурова. Иногда мне это удается. Кауров злится, вступает в драку. Силы у нас равные, и мы долго молча тузим друг друга, пока кто-нибудь из старших не разнимает нас. Так что мы друг друга люто ненавидим, как могут ненавидеть люди моего возраста. Соперничество у печки перерастает в соперничество во всех других случаях школьной жизни. И вот надо же, словно нарочно нас назначили дежурить по скотному двору в одной группе.

У скотного двора Шемякин распределяет нас кого куда.

— Ты, Колосов, — обращается он ко мне, — пойдешь с Колей Кауровым кормить коров. Кормил кто-нибудь коров?

— В деревне росли, чего спрашиваешь, — угрюмо отвечаю я, недовольный присутствием наглого недруга Каурова.

— Там рацион висит на стенке, мерки имеются. По норме кормите. Я к вам заскочу потом. Вопросы есть?

— Нехитрое дело, — отвечаю я, косясь на заспанного, отчаянно зевающего Каурова. “Работничек, — зло думаю я, — маменькин сынок”.

Школьное хозяйство небольшое. Оно задумано как образцово— показательное, дающее практику учащимся и

служащее для крестьян окрестных сел эталоном ведения хозяйства по науке. Штук пять коров, пара лошадей, десятка три свиней, есть гуси, куры, утки. В хлеве тепло, домовито, ярко горят электрические лампочки. У “датских” кормушек стоят упитанные холмогорки. Одна корова лежит, повернув голову к нам, выжидательно смотрит влажным глазом. Кауров со злостью тычет носком ботинка в крутой бок лежащей коровы. Та, вздохнув, поднимается на ноги.

— Ты, живодер, ногой зачем, — сержусь я.

— А тебе чего? — бурчит Кауров, втягивая круглую голову в плечи.

Стукнуть бы его разок по башке, — связываться неохота, да и работать надо.

— Бери лопату, навоз убирай, — говорю я. Фыркнув, как рассерженный кот, Кауров берет лопату.

Минут через десять приходят кухарка Настя и Катя Бочарова. Кухарка по совместительству варит ученикам обеды, доит коров, кормит птицу. Розовощекая, пышущая здоровьем молодая женщина садится на скамеечку, и струйки молока с детства знакомо запели по жести подойника. Стараются не отстать от кухарки и Катя. У нее тоже неплохо получается. А мы тем временем таскаем воду на поило коровам. Колька

стоит на водовозной повозке, черпает ведром воду из обледенелой бочки и подает мне. Вот ведро зацепилось за бочку, вода льется на живот Каурова, на меня.

— Осторожнее, черт! — кричу я, отскакивая.

— Сам тут постой! “Осторожнее!” — плачущим голосом отвечает Кауров.

Потом таскаем сено из сарая. Кауров норовит взять вязанку поменьше. Дорогой у него сено рассыпается.

— Веревку не можешь затянуть, — укоряю я товарища.

— Руки зашлись, — злобно шипит Кауров и бежит в хлев. Поработай с таким...

Наконец дела все сделаны. Коровы жуют сено. Доярки процеживают молоко.

Настя, оценивающе взглянув на нас, улыбается, наливает в жестяные кружки парное молоко, подает:

— Пейте, ребята, сегодня вы заслужили. Дежурные у нас всегда парное молочко пьют.

До чего вкусное молоко! От молока мы добреем, не препираясь, молча идем с Кауровым в столовку, где уже гудит первая смена завтракающих.

Быстро съедена каша из глиняной плошки, выпит пахнувший мочалкой чуть сладковатый теплый чай. Вторая смена уже поторапливает, она дышит за твоей

спиной. Дежурные разносят для второй ломти черного хлеба на деревянных подносах.

В обеденный перерыв надо успеть покушать самому и накормить животных. Вечером спешки поменьше, но работы побольше. На этот раз Шемякин посылает меня и Катю кормить свиней. Катя, старше меня возрастом, крепкотелая девица, властно распоряжается мной:

— Чисть стояла, а я буду картошку толочь.

Картофель варится в большом котле, вмазанном в кирпичную печь. Катя вытаскивает деревянной поварешкой дымящийся картофель, бросает в оцинкованный бак и разминает деревянной колотушкой. Вкусно пахнет картофелем, отрубями. Мы и сами с удовольствием лакомимся рассыпчатым картофелем, густо посыпая его серой солью.

Разносим еду свиньям. Толкаясь и повизгивая, наши подопечные аппетитно чавкают. А мы с Катей моем картофель, засыпаем в котел, готовим пищу животным на следующий день.

Часов в одиннадцать вечера, усталые, приходим в общежитие.

— Ты уроки готовил? — спрашивает Катя.

— Утром встану пораньше...

— И я утром. Спать хочется! — зевает

Катя, скрываясь за дверью девичьей комнаты.

Я быстро засыпаю, с облегчением думая, что теперь на скотном дворе мне дежурить через месяц.

Уход за животными мы все считаем не особенно трудным делом. Оно привычно с детства. Сущим наказанием для нас, мальчишек, являлось мытье полов. И потому, когда Гаврилов, наш староста, назначил меня и Степана мыть танцевальный зал, мы оба пытались уклониться.

— Мы лучше дрова пойдем пилить,
— просит Степан, заручившись моей молчаливой поддержкой.

— Придет время, пойдешь пилить,
— непреклонно заявляет староста. —
Валяйте к Кузьмичу, он вам ведра выдаст, швабры, опилки.

— Опилки-то зачем? — спрашивает Степан.

— Эх, салага, матросы чем палубу драют? Швабрами. Ну и опилки сыпят на палубу, чтоб чище. Учитесь, под старость — кусок хлеба, — смеется Гаврилов.

Степан несколько сконфужен. Он любит при случае блеснуть знанием морских обычаев, языка...

Кузьмич выдает нужное. Воду надо носить из подвала. Там находится единственный на весь дворец водопроводный

кран, вмонтированный в просторную бетонную ванну. Носим ведра по очереди. Трудно тащить воду по винтовой лестнице служебного хода. Сам бывший владелец дома ходил по двухмаршевой мраморной лестнице, а слуги крутились с разными грузами по этой крутой черной лестнице, идущей от самого подвала до чердака.

В зале обычно проходят различные вечера. К учащимся школы приходят в гости парни и девчата, пожилые люди из соседних деревень. Зал вмещает человек триста. У застекленного эркера — небольшая сцена. Сейчас зал пуст, гулким эхом звучат наши шаги.

— Да рази тут за день вымоешь все? — скребет рыжий затылок Степан. — Почухаемся мы тут, Игнат. Смотри-ка! — оживился он внезапно, — рояль!

И верно, в углу зала стоял блестящий черный рояль. Перед роялем круглый винтовой стул. Латинскими золотыми буквами непонятное слово на рояле. Я видел, как на прошлой неделе этот рояль выкатили из соседней с залом комнаты. Мы подошли, попытались открыть крышку. Увы! Она была заперта на замок. Зато крышка над струнами открылась легко, в утробе инструмента виднелись жилы струн, позолоченные ребра лиры, на которой натянуты струны, пристроены молоточками с сафьяновыми

наклейками.

— Кто у нас умеет на нем играть?
— спросил Степан.

— Надо знать ноты, — сказал я, рисуясь своей осведомленностью.

Мы рассыпали на полу опилки, смочили их водой и стали тереть паркет мочальными швабрами. Потом долго выносили в ведрах на улицу мокрые опилки, старательно подметали. С удовольствием наблюдали как, освобождаясь от опилок, влажно темнел чистый пол. И воздух в зале стал чистым, влажным. Мы уже готовились закрывать зал на замок, как велел Кузьмич, но вошел Гаврилов. Он критически окинул взглядом пол, оценивая нашу работу, хмыкнул одобрительно, сказал:

— Гоже, ребятки, молодчики! — и направился к роялю. Потрогал крышку над клавишами.

— Он закрыт, — предупредил Степан.

Гаврилов молча вынул из кармана ключик, отпер замок, поднял крышку, пробежал пальцами по белым и черным клавишам.

— Умеешь? — восхищенно спросил Степан.

Гаврилов также молча сел на стул, взглянул на нас и заиграл.

Зачарованные, мы слушали незна-

комую мелодию. Звуки мощно лились из рояля, наполняя весь зал, как бы раздвигая его стены.

— А ты говорил — ноты. Без всяких там нот шпарит! — восторгался Степан. И Гаврилову: — Что играешь?

— Вальс “Березка”, — ответил Гаврилов.

— А полечку можешь?

— Могу, — Гаврилов заиграл веселую полечку. Увлеченные игрой Гаврилова, мы не заметили, как в зал стали сходить ребята, обступили рояль. Пришел и Алтынов. Музыкальная душа его сразу поняла, что сейчас-то преимущество Гаврилова неоспоримо. Он долго слушал, а потом сказал:

— А меня научишь?

— Могу, — просто сказал Гаврилов. — Слух у тебя музыкальный имеется.

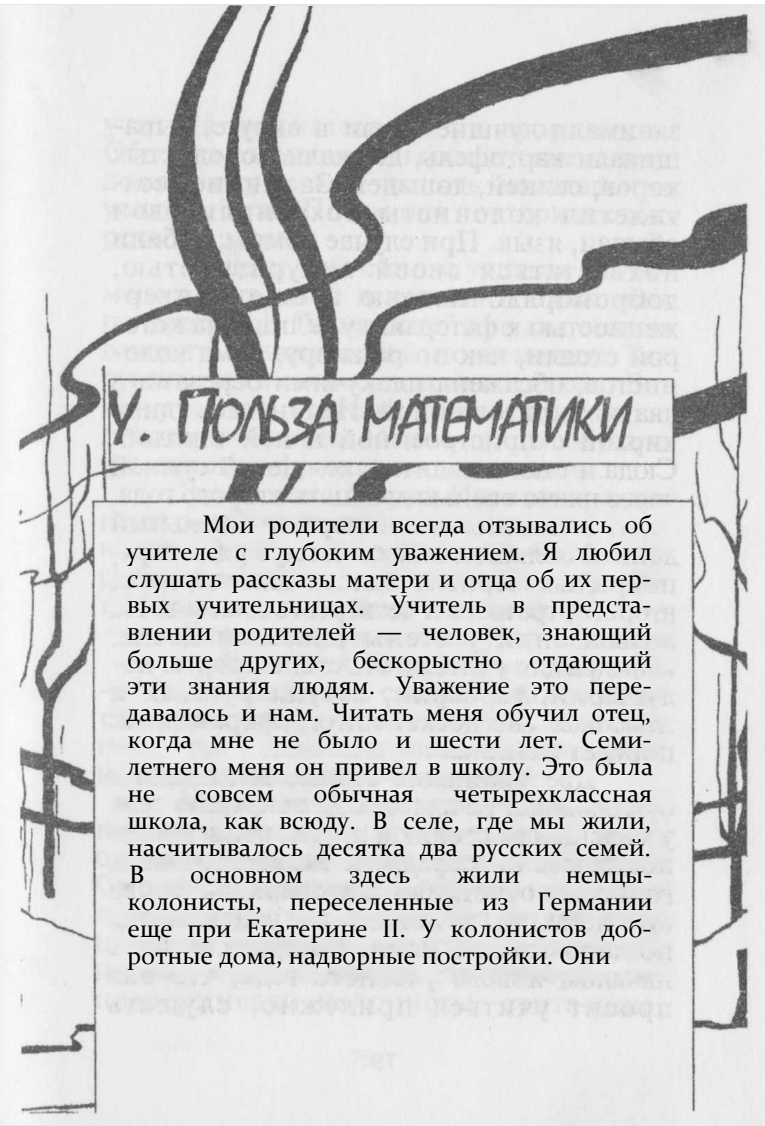
— А по нотам можешь? — поинтересовался Степан.

— Нот не знаю, — вздохнул Гаврилов. — Я на слух только. У нас в детдоме воспитательница одна играла, из бывших. По нотам могла. Я на слух у нее учился. Ночью все спят, я заберусь в зал и подбираю мотив. Так и наловчился.

После этого случая Алтынов подружился с Гавриловым. Но все же каждый оставлял за собой право главенствовать в своем кружке. Это было

перемирие двух сильных личностей. Они не переступали негласных, невидимых, одним им известных границ своего влияния. И мне казалось, что они всегда примеряются друг к другу. Только у Гаврилова это выглядело не так заметно. Рано осиротевший, много испытавший, он казался взрослее Алтынова, сдержаннее. Мы, мальчики, хорошо понимали это внутреннее состояние своих лидеров. Я, как и все подростки из неблагополучных семей, бедных, тянулся к Гаврилову; ребята из семей обеспеченных шли за Алтыновым. И такое расслоение было естественным в те годы, когда в деревне шло деление на бедняков, середняков, кулаков. А в тетрадях по обществоведению мы записывали процент классового деления деревни. К ребятам алтыновской группы приезжали родители, привозили своим сыновьям сало, масло, ковриги хлеба. К нам, Гавриловнам, родители ездили редко, а привозить им было нечего. Поэтому мы довольствовались скудными школьными харчами, всегда жили впроголодь. Но те, которым привозили съестное, как правило, щедро делились со всей ком- - натой.





У. ПОЛЬЗА МАТЕМАТИКИ

Мои родители всегда отзывались об учителе с глубоким уважением. Я любил слушать рассказы матери и отца об их первых учительницах. Учитель в представлении родителей — человек, знающий больше других, бескорыстно отдающий эти знания людям. Уважение это передавалось и нам. Читать меня обучил отец, когда мне не было и шести лет. Семи-летнего меня он привел в школу. Это была не совсем обычная четырехклассная школа, как всюду. В селе, где мы жили, насчитывалось десятка два русских семей. В основном здесь жили немцы-колонисты, переселенные из Германии еще при Екатерине II. У колонистов добротные дома, надворные постройки. Они

занимали лучшие земли в округе, выращивали картофель, держали породистых коров, свиней, лошадей. За многие десятилетия колонисты сохранили свои обычаи, язык. При случае немцы любили похвастаться своей аккуратностью, добропорядочностью и еще приверженностью к фатерлянду. Улица, на которой стояли, как по ранжиру, дома колонистов, обсажена плакучими березами в два обхвата толщиной. Начиналась улица кирхой с пристроенной к ней школой. Сюда и стал я ходить с холщевой сумкой через плечо осенью двадцать второго года.

Запомнился мой первый школьный день. В большом классе четыре ряда парт, покрытых черным лаком: для первого, второго, третьего и четвертого классов. На возвышении у стены классная доска, кафедра для учителя. По стенам карты полушарий, гербарии, азбуки русская и немецкая. Над доской литографированный портрет Л. Ленина.

Две сухонькие старые женщины в буклях вошли в класс. Одна скромно села у маленького столика, другая решительно поднялась на кафедру и сказала звонким голосом, отчетливо выговаривая слова по-немецки. Я понял, что учительница поздоровалась с нами, поздравила нас с началом нового учебного года, что она просит учиться прилежно, слушать

учителя внимательно, не озорничать. Общась с мальчиками соседних немецких домов, я уже мог понять наставления учительницы. Потом она повторила свою речь по-русски.

— Дети, мы станем учиться по-немецки пять дней в неделю и один день по-русски. В “немецкие” дни мы станем говорить между собой по-немецки. Так русские дети скорее овладеют языком. Вот я — русская, а говорю по-немецки лучше некоторых немцев. Меня с детства обучали немецкому, французскому, латыни.

Зовут меня Мария Ивановна, а вот наша вторая учительница — Наталья Ивановна. Она будет преподавать ботанику, рисование, пение, чистописание. Слушайте ее так же, как меня. Все поняли?

Класс недружно прогудел в ответ.

— Кто будет лениться и шалить ...
— Мария Ивановна сделала многозначительную паузу, — того в угол, за доску, или вот..! — помахала увесистой линейкой из черного дерева, — по рукам!

Мариванна и Наталиванна, как называли мы своих учительниц, были сестры, старые девы, воспитанницы Смольного института. Они уже несколько лет до революции преподавали в этой школе, с трудом привыкали к порядкам новой советской школы. Их консерватизм поддерживали колонисты, считавшие,

например, что ударить ученика линейкой по рукам очень даже полезно для его умственного развития. И Мариванна отвешивала ощутительные удары линейкой, ставила за доской провинившихся на колени, а особо строптивых иной раз выволакивала из класса на двор, обнаруживая при этом незаурядную силу в своем сухоньком теле.

Наталиванна была робкой, тихой женщиной, тенью своей воинственной и практичной сестры.

Но обе искренне старались обучить нас всему, что знали сами, не жалея сил и времени. Первые буквы, которые я вывел в тетради, были немецкие, готического письма. Угловатые буквы писались специальным пером “рондо”. Я оказался способным учеником. Быстро одолел немецкую и русскую азбуку, писал сносно и бойко читал по-русски и по-немецки, за что Мариванна прозвала меня “пономарь”. У нее для каждого ученика была придумана кличка. Мариванна только раз стукнула меня черной линейкой, дважды ставила в угол, и однажды вытащила сухими своими пальцами, выпачканными мелом, не дожеванный блин изо рта. Не дождавшись перемены, я решил тайком съесть злосчастный блин.

Один только год проучился я у Мариванны. Наша семья покинула село,

перебравшись на хутор. А потом были разные учительницы в разных школах, но они мне мало запомнились.

Учитель и ученик! Извечный и всегда удивительный творческий процесс происходит в этом союзе. Всегда. Он плодотворный, этот процесс, если, несмотря на огромное различие в возрасте и, тем более, знаний, жизненного опыта, оба они — учитель и ученик — работают на равных, взаимно уважают друг друга, признают себя равными соучастниками творческого процесса обучения. Ведь, поучая, и учитель все время учится.

Но стоит нарушить гармонию творческого сообщества — и пропадают зря усилия добросовестного учителя, не располагающего педагогическим чутьем, талантом, природным даром. Ведь при нарушении гармонии общения страдает всегда ученик, находящийся в подчиненном положении. И доброе дело сделает тот учитель, который, поняв, что не сможет быть учителем, что он ошибочно выбрал эту профессию или принял ее по понуждению обстоятельств, бросит школу, подыскав себе занятие по силам и по душе. Недоверие к ученику — ненаказуемое преступление воспитателя. Оно тем вреднее, что недоверие односторонне. Ученик-то в большинстве случаев безраздельно верит учителю, продолжает

верить.

К такому выводу, хотя и очень смутному, очень субъективному, я пришел, когда стал заниматься в седьмом классе. Но в пятом все недостатки в учебе я принимал только на свой счет. С первых дней занятий у меня, как и у других моих товарищей, появились любимые, нелюбимые и терпимые учителя. К нелюбимым я сразу отнес преподавателя математики Константина Степановича Степанова. Ветеринар по профессии, он вел в округе значительную работу по пропаганде зоотехнических знаний, применению их в крестьянской практике. Часто он приходил на занятия прямо с фермы или пастбища, в болотных сапогах, в брезентовом плаще, в простеньком костюме и косоворотке, пахнувший карболкой. Он вешал в угол на гвоздь негнувшийся свой плащ, приглаживал жидкие серые волосы и говорил каким-то тоже негнущимся жестяным голосом:

— Кто сегодня дежурный?

Дежурный вставал.

— Вытри доску.

Дежурный шел вытирать доску и до того чистую. Почему учитель Степанов давал такое обязательное распоряжение, никто не мог понять. А Степанов садился за стол и брался за классный журнал. Полистав, он хмурым взглядом уставшего

человека медленно обводил класс, и все невольно сжимались под этим взглядом. Я, например, почему-то панически боялся Степанова. Мне казалось, что он сразу невзлюбил меня и нарочно допекает тягучими своими нотациями. Я прячу глаза, напрягая свою волю, мысленно заклинаю: “Только не меня вызывай, только не меня...” Но сегодня заклинание не помогает. Взгляд учителя застывает именно на мне, из сорока учеников он избрал для опроса меня первого. В висках стучит кровь, как сквозь слой ваты до меня доносится:

— Колосов, к доске!

Скованный стыдом и страхом, плетусь к доске. Беру в руки мел, стою в тоскливом ожидании. Класс молчит. Со стороны представляю себя, давно не стриженного, бледного от недоедания, в грязной рубахе, потрепанных штанах, валенках до того старых, что не понять, на чем наставлены многочисленные кожаные заплатки.

— Что я вам в прошлый раз задавал?
— спрашивает Степанов, постукивая желтыми от махорочного дыма пальцами по классному журналу. — Ну, отвечай же, Колосов, мы все ждем.

Колосов молчит. Из головы его напроць вылетело задание и правила сложения дробей, которые проходили в

прошлые уроки. Он ненавидит сейчас себя за беспросветную глупость, за вот эти разбитые валенки и грязную рубаху, за невыполненные уроки. Он ненавидит свою болезненную застенчивость и неудачливость.

— Так... Не знаешь, как всегда... — равнодушно говорит Степанов. — Может ты объяснишь нам причину? Вот государство дало тебе прекрасную школу, общежитие, еще и стипендию платит, кормит тебя. А ты что даешь государству? И что ты можешь дать государству?

Последние слова сказаны таким тоном, что я, затурканный беспощадными вопросами учителя, понимаю: нечего ждать от меня государству. Я бы мог сказать кое-что в свое оправдание, если бы кому-нибудь пришло в голову расспросить меня, если бы для такого объяснения я нашел нужные слова. Я бы мог сказать, что без отца мне стало труднее жить. На меня навалились взрослые заботы, отвлекающие от учебы. Отсутствие надежной мужской защиты моего детства рождали во мне чувства неустроенности, неуверенности, усугубляемое жалостливыми, но совершенно бесполезными соболезнованиями непрошенных доброхотов, откровенной насмешкой сверстников и взрослых над моей матерью: "От хорошей жены муж не

убежит...” Я бы мог сказать, что учился в нескольких школах, бессистемно, что пришел в эту школу с плохой подготовкой по сравнению с другими учениками, занимавшимися в нормальных условиях. Вдобавок ко всему я близорук. Сказались долгие осенние и зимние вечера, проведенные за книгой при неверном свете коптилки. И хотя меня посадили на первую парту, я все равно ничего не вижу на доске. Мне приходится напрягать все свое внимание, чтобы уследить за речью учителя, пишущего при этом мелом на доске, успевать записывать текст и цифры. На усвоение же материала не остается времени. Мне приходится бесчисленное количество раз унижаться перед товарищами, мешать им, записывая с их тетрадей тот или иной текст, переспрашивая. Даже сдержанный Керт морщится недовольно, когда я слишком докучаю ему вопросами во время уроков. А Степан откровенно посмеивается над моей близорукостью, а в минуты ссор в глаза называет слепым чертом, слеподыром. Я мог бы сказать, что очень скучаю по матери, а она никак не может побывать у меня, зарабатывая шитьем на хлеб в далеких от школы селах, что я вечно голоден, что я грязен и тело мое тоскует по теплой воде и мочалке, что на голове моей появился пугающий меня стригущий

лишай, а йод, выданный сельским фельдшером, не помогает, лишай разрастается, свербит нещадно.

— Ни звука, ни слова? — говорит Степанов, отворачиваясь от меня, как от досадной доуки. — А родители ведь твои ждут, наверное: выучится сынок, человеком станет, грамотным, подмога нам в старости. А выходит — нахлебником ты будешь, лоботрясом. Жаль мне твоих родителей, Колосов!

В настороженной тишине класса явственно слышится чье-то ехидное хихиканье.

— Кауров, ты смеешься? Значит урок знаешь. А ну, выдь к доске, — чуть повышает голос Степанов. Толстенький, краснощекий Кауров неуклюже вылезает из-за стола, плетется мелкими шажками к доске, становится рядом со мной. Я сую в его безвольную руку мелок. Кауров тарашит на учителя круглые глаза, щеки его, всегда красные, становятся еще краснее, прямо пышут пламенем.

— Рассказывай нам правило сложения простых дробей, — напоминает Степанов. — Чего ждешь, начинай, помоги нам всем понять.

Кауров с безнадежной тоской смотрит на меня, потом решается:

— Надо числитель...

— Что — “числитель”?

— Сложить, — выдавливают Кауров, шумно вздыхая.

— Допустим. Дальше, — поторапливает Степанов.

— Знаменатели тоже...

— Что — “тоже”?

— Сложить, — пытливо всматриваясь в лицо учителя неуверенно говорит Кауров.

Степанов согласно склоняет голову. Кауров оживает. Степанов дает пример: сложить одну четверть и десять сороковых. После долгих расчетов и понуканий со стороны учителя у Каурова получается одна четверть. Кажется, что Степанов даже доволен таким неожиданным результатом. Он вызывает Бочарову, потом Степана. И те знают не больше моего и Каурова. Теперь четверо стоим перед классом, понутив буйные головы, изучаем рисунок паркета. Привыкшему к повседневной ходьбе по хозяйствам Степанову не сидится за столом. Он прохаживается по классу и распекает нас ровным, почти бесстрастным голосом. Он приводит примеры, долженствующие показать, насколько мы тупы, бесталанны и ленивы.

— Я на днях участвовал в ревизии нашего кооператива, — рассказывает Степанов. — Так вот, как вам известно, заведует кооперативом Сила Саввич.

Простой мужик, крестьянин, два класса церковноприходской школы закончил. А голова! Посмотрите—ка как он на счетах управляется, да успевает при этом с покупателем поговорить, да подсчитать, сколько стоит товар, да взвесить, да товары принять. И счета, документы все у него всегда в ажуре, как говорится. А если кого из вашего класса, почти с пятиклассным образованием, поставить на эту должность? Что будет тогда? Молчите. Прогорит кооператив, в трубу вылетит, а вас под суд отдадут. Он ссылается на других башковитых самородков, а я представляю себе Силу Саввича. Я несколько раз встречался с ним, когда ездил в магазин за продуктами для школьной столовой. Рыжебородый, с маленькими острыми глазками, в белом фартуке и кожаных нарукавниках, он привычно сладеньким голосом очень вежливо разговаривал и со взрослыми, и с детьми. Но в этой вежливости не чувствовалось радушие, а какая-то заученность. Говорили про Силу, что он приворовывает, а вот Степанов его хвалит.

— Голов! — вызывает Степанов. К доске выходит лучший ученик класса Миша Голов, односельчанин Алтынова. Серые глазки под чуть заметными белесыми бровками смотрят спокойно. Миша уверенно пишет числа и быстро

решает задачу, шмыгая простуженно остреньким носом в веснушках. Впервые за весь урок лицо учителя проясняется. Трогая рукой жесткие солдатские усы свои, он задает другой, третий примеры. И все их Голов решает с такой же уверенностью.

— Вот, учитесь у своего товарища, — хвалит Голова учитель. — Если, конечно, вы хотите учиться, а не лоботрясничать. Садитесь.

Мы, четверо, с облегчением возвращаемся на свои места. И то, что не я один оказался сегодня таким бестолковым и бесперспективным человеком, несколько успокаивает меня. Одновременно я недоумеваю: ладно, я бестолочь, но Катя Боcharова, Степан, тот же Кауров, да и другие есть в классе — их порядочно, плохо знающих математику — неужели все они безнадежные олухи?

А Степанов вышагивает по классу и уже не в первый раз рассказывает, как он, сын мелкого ремесленника, пришел еще до революции в институт, пробился через множество рогаток и стал ветеринаром. И вот учителем даже. Он, такой занятый человек, урывает время на обучение нас, не жалеет ни сил, ни времени, а что он видит? Где же добросовестность, где прилежание?

Класс молчит. Класс всегда молчит

на уроках Степанова. Даже острый на язык Алтынов, обычно на уроках других учителей задающий множество вопросов, нередко каверзных, предусмотрительно отмалчивается: “Придерется потом...”

Выговорившись, Степанов задает на дом, надевает свой жесткий, забрызганный грязью плащ и уходит. Класс сразу оживает, наполняется шумом, возней. Ребята срываются с мест, торопясь подразмяться на перемене. Даже у всегда успевающих учеников светлеют лица и вырывается вздох облегчения. Беспечные, мы немедленно забываем лучшего Степанова и трудные его уроки до следующей недели. Когда-то еще математика!





VI. ПРИЗНАНИЕ

— Зинаида Александровна! — поднимает руку Алтынов. Он сидит на последней парте рядом с Годовым и Кауровым. Лицо Алтынова светится лукавством.

— Да, что ты хотел, — отвечает учительница. Сегодня в классе, несмотря на март, довольно прохладно. Все в пальто. Зинаида Александровна в теплой шерстяной кофте, голова укутана шалью. Она листает тетради с домашними заданиями и изредка потирает озябшие пальцы.

— Разрешите рассказать анекдот, — говорит Алтынов. Он большой любитель анекдотов, знает их великое множество, умело рассказывает. Зинаида Александровна морщится.

— Да он короткий, и как раз по вашему предмету, — не уступает Алтынов.

— Ладно уж, — улыбается учительница, — говори.

— Известно, что Екатерина Вторая плохо знала русский язык, потому что была немка. Она ухитрялась в слове из трех букв делать четыре ошибки. Какое это слово?

— Ну вот, будем еще гадать... — тянет Зинаида Александровна.

— И не угадаете! Вот какое... — Алтынов идет к доске и пишет слово “еще” и рядом “ишшо”.

Весь класс покатывается со смеху. Смеется и Зинаида Александровна. Она машет рукой Алтынову: — “Садись”, — стогонет улыбку с полного лица и скорбно вздыхает.

— Екатерине простительно, она немка, — горестным тоном говорит Зинаида Александровна. — Но вот ваши задания приводят меня в ужас. У тебя, Алтынов, десять ошибок. — Алтынов изображает на лице недоумение. — Да, да, десять. Зина Марянина тоже...

Зина Марянина, сидящая напротив меня на второй парте, низко склоняет голову. Нервными тонкими пальцами она отбрасывает русые пряди волос, падающие на глаза.

— А у меня? — спрашивает Степан.

— Не блещет, — уныло говорит Зинаида Александровна, вытаскивая из кучи тетрадей испачканную чернилами тетрадку Степана. — Как видишь, и внешне... и по содержанию... двадцать ошибок.

— А у меня? — решаюсь и я задать вопрос.

— Колосов... Колосов... — перебирает тетради учительница, находит, лицо ее веселеет. — Колосов? А ты написал сносно. Пожалуй, лучше всех в классе. Вот что значит, когда человек учит правила, внимательно слушает на уроках учителя, а не рассказывает анекдоты, — назидательно внушает Зинаида Александровна, астматически вздыхая. — И в прошлый раз у Колосова диктант написан удовлетворительно...

Зинаида Александровна называет еще несколько фамилий, заслуживающих "удочку".

От похвалы учительницы меня бросает в жар. Все существо мое трепещет от радости: "Ведь могу! Значит не такой уж я тупица!" Радость несколько омрачается тем обстоятельством, что ошибается добрая Зинаида Александровна. Слабо, плохо знаю я правила. Они, проклятые, не лезут в мою башку, сколько ни зубрю. Просто я начитан, и это помогает мне избежать многих ошибок в правописании:

действует зрительная память. Но я заставляю себя понять эти правила, буду биться лбом о стол, но забуду правила в свою непутевую голову. К этому обязывает меня и похвала учительницы и мнение товарищей, согласившихся с Зинаидой Александровной в оценке моих способностей. А это еще важнее для меня. Учительница простит, сердце у нее жалостливое, класс же не может прощать, сообщая борясь яростно и подспудно за свое совершенство.

Зинаида Александровна начала объяснять новое правило. Она старательно перечисляла положения правила. Но странное дело: как внимательно ни слушаешь ее — все-таки не понятно. Сколько раз произносились ею слова “подлежащее”, “сказуемое”, “суффикс” и другие не менее мудреные, смысл их был нам непонятен. Слова эти жили как бы отдельно от самих правил, в повседневной жизни они нам не встречались. Учительнице бы очистить слова эти от скорлупы пугающей мудрости и подать нам в их деятельной живой сути. Но она не догадывалась это сделать. И ее, наверное, учили по той же методе механического запоминания, зубрежки, коей она и пользовалась теперь. Мешало основательному изучению грамматики и предубеждение, бытовавшее в то время,

что писать грамотно не так уж важно. Вот точные науки надо знать назубок, здесь ошибки недопустимы, немыслимы.

Учеников всегда живо интересуется личность учителя, его поведение, его характер. И ошибался тот же Степанов, который глядел на вихрастых подростков и нескладных девчонок как только на слабые ростки, из которых еще предстоит вырастить полезные растения. Причем посев надо предварительно хорошо пропалывать, решительно удаляя слабые ростки. И уж, конечно, он не допускал, что подростки эти способны как-то анализировать поступки учителя, принимать или отвергать их, давать часто удивительно точную психологическую характеристику учителю.

Мы подметили, что Зинаида Александровна добра, любит нас искренно, плачет тайком, когда мы ее огорчаем, что она сентиментальна и рассеянна. Мы тоже любили ее детской жестокой эгоистической любовью и уважали. Никогда не называли ее уменьшительным именем, как Степанова — Костей, даже в самых конфиденциальных ребячьих беседах. Прошедшие суровую школу детства, мы несколько покровительственно относились к Зинаиде Александровне, чувствовали себя взрослее ее в бытовых вопросах, практичнее, и старались, как могли,

опекать ее от жизненных неурядиц. Но мы безжалостно пользовались ее слабостями. Доверчивая, добрая, она не замечала наших, довольно прозрачных для других учителей, хитростей.

У Зинаиды Александровны привычка вызывать к доске по алфавиту. Щуря близорукие глаза, она называет фамилию очередного ученика. Степан тычет меня в бок:

— Игнат, сейчас меня вызовет, а я ни в зуб ногой, — озабоченно шепчет он, округляя глаза.

Я пожимаю плечами. И подсказал бы Степану, но сам плаваю.

Степан сопит, потом неожиданно поднимает руку.

— Зинаида Александровна, извините, пожалуйста, а почему ваша фамилия не русская, а преподаете вы русский?

Зинаида Александровна таращит голубые глаза на спрашивающего, краснеет как девочка, и после короткой паузы говорит:

— Эйзенштейн был мой дед, немец. В России он родился, как и его отец. Ну а мать у меня русская... Отец — русский немец. А я считаю себя русской.

— А немецкий вы знаете? — не унимался Степан.

— Знаю, а как же. Я училась в гимназии, там учили немецкий и фран-

цузский. А фамилия ... Эйзенштейн обозначает по-русски железо и камень. Железный камень, если хотите.

Она увлекается, рассказывает о деде и отце — известных петербургских врачах, о дальнем родственнике Сергее Эйзенштейне.

— Вы видели кинофильм “Броненосец Потемкин”?

Как же, мы все по несколько раз смотрели эту картину.

— Так вот, ее поставил режиссер Сергей Эйзенштейн, — с еле скрываемой гордостью говорит учительница.

Этот факт из биографии Зинаиды Александровны заметно повышает в наших глазах ее авторитет.

Степан торжествует: урок закончился, его не вызвали к доске.

Да и очень интересно слушать Зинаиду Александровну.

Весна. В распахнутое окно доносятся звуки весеннего деревенского дня. Звонко стучат в далекой кузнице молотки по наковальне, победно горланят петухи, перекликаются женщины, сортирующие под окном зерно на “триере”, тарахтит трактор на совхозном поле. И запах распускающихся почек вливается со слабым ветерком в наш класс. Окно сегодня мы открыли: потеплело на улице, да и легче дышать нашей учительнице.

Зинаида Александровна монотонно читает диктант, прохаживаясь между столов. Мы стараемся вникнуть в смысл текста, но мысли наши — на весенней улице. Невозможу сидеть в помещении, когда на земле ликует весна, зовет всеми своими звуками и запахами, светом своим принять участие в этом торжестве жизни.

— Зинаида Александровна, может, пойдем на второй урок на улицу? Почитаем чего-нибудь? — вкрадчиво предлагает Алтынов. Учительница вздыхает. Ей и самой хочется побыть на воздухе, но она в нерешительности.

— Пойдемте, Зинаида Александровна! — дружно поддерживают Алтынова девочки, сидящие особняком. “Девичий угол” — называем мы эту часть класса.

Зинаида Александровна задумывается, потом улыбка озаряет ее круглое лицо. Мы торжествуем: согласна. Следующий урок проходит под открытым небом. Все удобно рассаживаются на гранитных ступенях парадного крыльца и рассеянно слушают чтение. Учительница устает, передает книгу лучшему чтецу класса Николаю Гаврилову. И теперь сама похожа на своих рассеянных, очарованных весной учеников.

Зинаида Александровна заведовала школьной библиотекой. Она размещалась в полутемной комнате. По стенам

широкие сосновые полки, на них разномастные книги. Это были остатки некогда богатой домашней библиотеки барона. На полках под самым потолком покойно лежали покрытые пылью роскошно переплетенные тома на французском, немецком, английском языках. Их никто не трогал, разве при переборке рассматривали иллюстрации. Были в библиотеке русские классики — Лев Толстой и Пушкин, Лермонтов и Тургенев, Достоевский и Гоголь. На самых нижних полках — современные искания на серой бумаге в мягких потрепанных обложках. Я был активным читателем, и поэтому Зинаида Александровна взяла меня себе в помощники. Частенько, если она сама была занята или больна после очередной простуды, я выдавал книги ребятам, гордясь своим положением. Зинаида Александровна держала особняком несколько десятков книг. И каждый раз, когда приходила в библиотеку, она бережно перебирала эти книжки, стирала с них пыль.

— Этим книгам цены нет, — говорила она с таинственным видом и заметным волнением. — Вот эта, например, издана самим Пушкиным за год до смерти...

Волнение учительницы передавалось мне. С трепетом брал я книжку

“Современника” в твердом переплете с кожаным корешком, раскрывал ее. “Анекдоты” — озаглавлен один из разделов книжки. На титульном листе дата : 1836 г.... Плотная желтоватая бумага, крупные, чуть неровные буквы... Может, сам Пушкин листал этот экземпляр?.. Были в библиотеке прижизненные издания Крылова, Карамзина, Державина, новиковский журнал “Почта духов”.

— Таким книгам место в Ленинградской публичной библиотеке, — говорила Зинаида Александровна. — Как-нибудь я их отправлю туда.

Зинаида Александровна терпеливо расспрашивала каждого, бравшего в библиотеке книги, что ему понравилось в прочитанной книжке, старалась изучить вкусы каждого, угадать характеры своих учеников.

— Книга — друг и советчик человека. Книга открывает человеку окно в большой мир, — поучала она. — Каждый день навсегда потерял, если ты не прочел хотя бы несколько страниц. Запомните это! Вот — Горький. Он стал великим писателем благодаря только книгам. Помните его “Детство”, как он читал при свете луны...

О великом значении книги я слышал уже не раз от отца, от учителей, и рано чтение стало для меня потребностью, как хлеб. Книга скрашивала жизнь, возбуж-

дала интерес к познанию мира. Сколько счастливых минут провел я с героями Жюль Верна и Майн Рида, Фенимора Купера и Марка Твена. Я путешествовал вместе с ними в далеких сказочных странах, плавал по бурным морям, сражался с врагами и радовался, находя вместе с ними верных, мужественных и благородных друзей. Читал я и книги, смысл которых не доходил до моего сознания. Однажды я решил перечитать все книги в сельской библиотеке, брал одну за другой подряд, как они стояли на полке. Но скоро понял, что такой труд мне не под силу, и очень тем огорчился, отнеся неудачу на счет своей тупости. Я рассказал Зинаиде Александровне о своем эксперименте, она посмеялась.

— Читать надо с выбором, друг мой, сообразно возрасту, знаниям и жизненному опыту. Я стану руководить твоим чтением, — пообещала она.

По соседству со школой ломали пришедший в ветхость склад, принадлежавший до революции богатому купцу. Доски от этого сооружения отдали нашей школе в качестве материала для школьной столярной мастерской. Мы по очереди ходили ломать огромный сарай. На чердаке его лежала груда поломанной мебели, разный бумажный хлам, ящики с манжетами и воротничками, бильярдные кии и

сам бильярдный стол с обрывками зеленого сукна.

— Буржуи проклятые, водку хлестали в трактире у купца, на бильярдах играли, — ворчал Степан, чихая от пыли.

— Ну куда столько воротничков, не пойму. И манжет...

— Их меняли каждый день, а то и два раза в день, — пояснил Гаврилов. — Вот купец и заготовил в запас для своих клиентов.

В дальнем углу чердака я наткнулся на ворох книг, начал рыться. Были книги потрепанные, порванные, были и целехонькие. Но ничего для себя интересного я не находил. Попались толстые неразрезанные книжки в мягкой обложке. “Собрание сочинений Г.Гейне” — прочел я на переплете. Я слышал об этом поэте. И даже знал его стихотворение “Ткачи”:

— “Мы ткем неустанно, мы ткем...” Я собрал штук пять книг Гейне, принес их в общежитие, положил под матрац. Здесь хранились мои личные книги. Я запоем читал Гейне, погружаясь в волшебный мир музыки слов. Я испытывал такое непередаваемое праздничное чувство романтического полета, как при чтении Пушкина. Именно поэтического звучания музыки слова, а не его конкретного содержания. Наверное только в ранней юности мы так непосредственно воспри-

нимаем поэзию, всем существом так глубоко постигаем чувства поэта, обращающегося к нам со своим словом. Именно в эти дни я извлек из корзинки забытую тетрадь со своими стихами и начал по ночам записывать строчки, мятущиеся в голове беспорядочным роем. Выбирал свободное время, убегал куда-нибудь в отдаленный уголок парка, усаживался на замшелую каменную скамью и создавал в воображении целые баллады. Но стоило начать записывать их, как терялись слова, исчезали звонкие рифмы, тускнела, теряла краски созданная в уме картина. И все же написал романтическую балладу о бедном узнике, подражая Гейне. Когда-то, очень давно, узник был посажен злым бароном этого дворца в подвал, прикован к стене цепью. В заточении прошли годы. И вот распахивается темница, входят два балтийских матроса и говорят: "Выходи, товарищ! Барона мы пристукнули, в стране произошла революция. Ты теперь свободен." Старый, исхудавший узник протягивает к спасителям свои руки и тут же умирает от счастья, не сказав избавителям о себе ни слова.

Меня сжигало острое желание прочитать кому-нибудь свое сочинение. Товарищам? Уж слишком казались они мне для этого неподготовленными, чтобы по достоинству оценить мое творчество.

Да еще наверняка будут смеяться, кто их знает... Набравшись смелости, я решил показать стихи Зинаиде Александровне. Во всяком случае я был уверен, что встречу понимание, не насмешку. Выбрав удобное время, я пришел с тетрадью на квартиру к учительнице. Она жила в башне дворца, очень романтическом, но для жилья не очень-то удобном месте. Из ее комнаты деревянная винтовая лестница вела на верхние этажи башни. Я застал учительницу за чтением наших тетрадей. Маленькая дочка ее, Маргарита, играла на полу с тряпичной куклой. Зинаида Александровна встретила меня с приветливой улыбкой. Видя, что я в нерешительности топчусь у порога, пригласила:

— Проходи, Игнат. Садись вот здесь, на кресло, но оно на трех ножках, осторожно... Зато бархатное, мягкое, — усмехнулась она. — Рассказывай, зачем к нам с Ритой пожаловал?

— Посмотрите, — произнес я, мучительно краснея, и протянул потрепанную тетрадь учительнице. Брови ее поползли вверх. Она осторожно взяла тетрадку, раскрыла ее.

— “Стихотворения Игната Колосова”, — прочла она надпись на первой странице. Выражение удивления не покидало ее розового лица.

— Ты пишешь стихи? — тихо спро-

сила она, словно не веря, что это может быть.

— Пробую... Я еще года три назад начал... — не утерпев, похвастался я.

— Прекрасно! Как это прекрасно: простой деревенский мальчик пишет стихи! Ты разрешишь прочитать?

— Пожалуйста... Вот эту балладу... она последняя...

Прищурившись, учительница стала читать. Я старался угадать по выражению ее лица, какое впечатление производят на нее мои стихи. А так как ее лицо всегда выражало внутреннее ее состояние, то с тайной радостью догадывался: стихи учительнице нравятся И не обманулсЯ. Прочитав еще несколько стихов после баллады, она положила тетрадь на стол, ласково погладила ее рукой и сказала:

— Замечательно! Во всяком случае для твоего возраста стихи неплохие. Я очень рада, что мой ученик обладает талантом. У тебя поэтический дар, это несомненно. Но..., — она запнулась, посмотрела на меня добро и предостерегающе. — Рифмы не всегда удаются. Ударения надо знать. С грамматикой у тебя... Не ладишь с грамматикой... — Заметив на моем лице огорчение, торопливо продолжала: — А ты не огорчайся, Игнат. Чтобы стать настоящим поэтом, надо много работать, много учиться. Учиться всему.

А талант у тебя есть...

Чтобы утешить меня и вселить уверенность, Зинаида Александровна стала рассказывать о великих поэтах, о том, как многие из них с трудом шли к мастерству. От нее я узнал, например, что Некрасов в молодости написал книжку стихов, издал ее, а потом, в более зрелом возрасте, стыдился ее, скупал эту книжку, чтобы уничтожить. Я жадно слушал мою учительницу. Вот ведь как бывает! А может и я так начинаю?..

Зинаида Александровна оставила у себя тетрадь, чтобы еще почитать. И я ушел от нее окрыленный, успокоенный, обнадеженный. Я ушел от нее, ощущая прилив уважения к себе, ушел с верой в нужность людям своего поэтического дара. Не так уж огорчительными и важными казались мне теперь мелкие обиды, неустроенность быта, долгая разлука с матерью. Мне стало легче жить!

Я был уверен, что, кроме учительницы, никто о моих стихах не знает. Но оказалось, что я ошибаюсь. Как-то семиклассники проводили свой “взрослый” вечер, на который ученики младших классов не приглашались. Мы с завистью подслушивали у дверей в зал звуки рояля, топот танцующих, смех.

— Тоже мне — взрослые, — ворчал Степан. — Пойдем-ка спать, леший с

ними.

Не успел я раздеться как следует, в нашу спальню ворвалась ватага веселых, оживленных старшекласниц. Они сразу кинулись ко мне, окружили, защебетали наперебой, не могу понять — о чем они?

— Пойдем с нами, скорее, ну же!

— тормошила меня розовощекая девица.

— Вот скромник, а мы и не знали.

Что они не знали? Я лихорадочно перебирал в уме все свои провинности. Девицы же подхватили меня, потащили, — еле успеваю ногами перебирать, — привели в ярко освещенный зал.

Привели поэта! — объявила розовощекая, на всякий случай придерживая меня за руку. В зале зааплодировали. Я заметил тетрадку в руках одной ученицы. Она принялась “с выражением” читать одно стихотворение за другим. И после каждого — аплодисменты! Красный как рак, смущенный общим вниманием, я соображал, как бы сбежать. Как ни был ошарашен, все же приметил: парни хлопают не так охотно и не все, как девочки — дружно и искренно. А кое-кто из ребят смотрит на меня откровенно пренебрежительно. Я вырвался таки из цепкой руки своей почитательницы и дал ходу. Прибежал в комнату, упал на кровать, закрылся с головой одеялом. Несмотря на потрясение, вызванное

внезапным налетом девчонок, чтением стихов при народе, в душе я все же торжествовал: “Не совсем уж плохие мои стихи, если они кому-то нравятся”.

Я было возгордился, возомнил себя настоящим поэтом. Особенно льстило внимание девичьей половины школы. Часто можно было услышать сзади уважительный шепот девчат: “Стихи пишет...” Как не возгордиться!

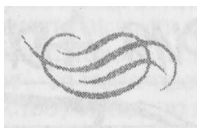
Но однажды жена директора школы, белокурая хрупкая женщина попросила меня извинительным тоном сходить за молоком на совхозную ферму. С готовностью взяв бидончик, я вприпрыжку побежал за молоком. День был воскресный, группа семиклассников околачивалась на парадном крыльце и скучала. Ребята проводили меня насмешливыми взглядами, а один сказал нарочито скорбным голосом:

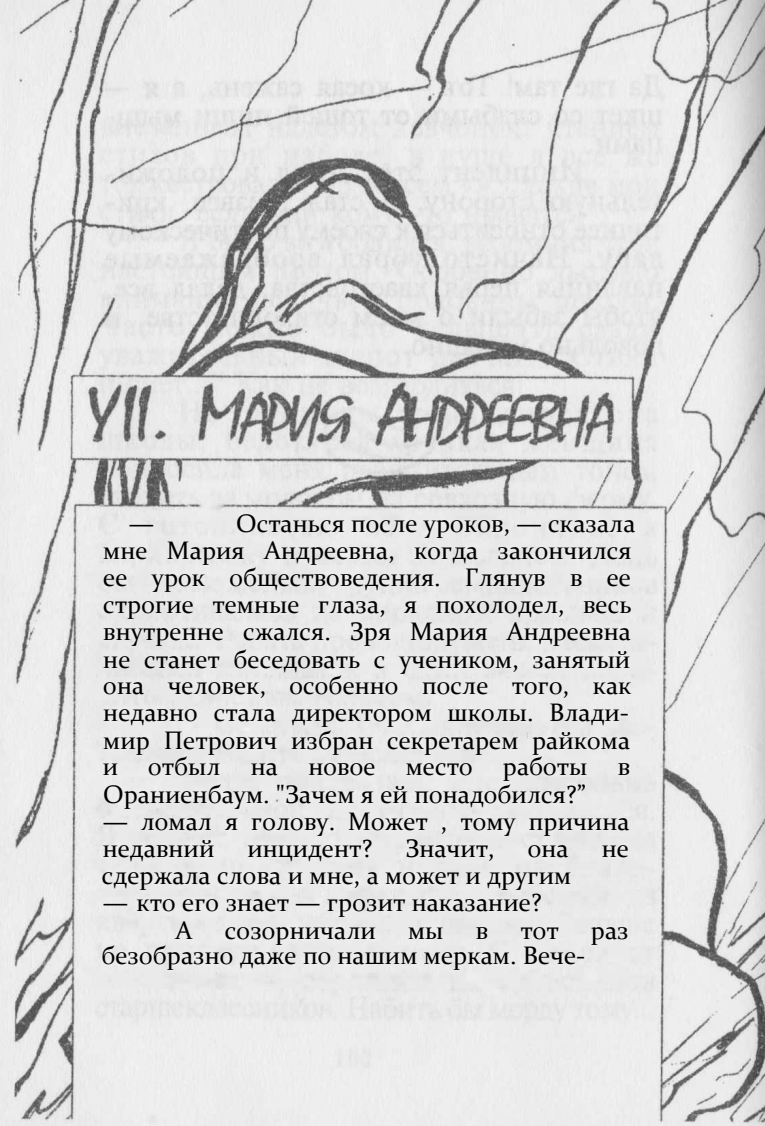
— О, время! О, люди! Поэтов заставляют ходить за молоком!

Фраза показалась мне настолько оскорбительной, что я чужь не расплакался. Я принес молоко, сердито поставил на стол и, не ответив ничего на благодарность жены директора, выбежал из квартиры, дав себе слово никогда больше не прислуживать никому. Я кипел от негодования, сердился на зубоскалов старшеклассников. Набить бы морду тому...

Да где там! Тот — косая сажень, а я — шкет со слабыми от тощей пищи мышцами.

Инцидент этот имел и положительную сторону. Я стал трезвее, критичнее относиться к своему поэтическому дару. Начисто убрал воображаемые павлинья перья хвастовства, делал все, чтобы забыли о моем стихоплетстве, и довольно успешно.





VII. МАРИЯ АНДРЕЕВНА

— Останься после уроков, — сказала мне Мария Андреевна, когда закончился ее урок обществоведения. Глянув в ее строгие темные глаза, я похолодел, весь внутренне сжался. Зря Мария Андреевна не станет беседовать с учеником, занятый она человек, особенно после того, как недавно стала директором школы. Владимир Петрович избран секретарем райкома и отбыл на новое место работы в Ораниенбаум. "Зачем я ей понадобился?" — ломал я голову. Может, тому причина недавний инцидент? Значит, она не сдержала слова и мне, а может и другим — кто его знает — грозит наказание?

А созорничали мы в тот раз безобразно даже по нашим меркам. Вече-

ром в воскресный день, перед сном, Степан и Кауров стали бороться. Пыхтя и сопя, топтались они посередине комнаты, стараясь изо всех сил победить противника. Незаметно к ним присоединились еще двое—трое ребят. Возня пошла веселее и задорнее. От борьбы ребята перешли к беготне вокруг стола. Мы перепрыгивали через скамьи, табуреты словно дикие индейцы во время танца войны. Скоро все обитатели комнаты включились в дикую пляску. Мы орали, хохотали во все горло, свистели. Какое-то неистовство, похожее на помешательство, овладело нами. В этом сплошном реве не сразу слышали мы громкий стук в дверь, запертую на толстый крюк.

— Отворите сейчас же! — слышался гневный крик Марии Андреевны.

Мы мгновенно отрезвели. Рев стих, ребята кинулись каждый к своей кровати, накрылись одеялами. Каждый, с бьющимся бешено сердцем прислушивался теперь к голосу из-за двери. Сперва он звучал грозно, потом интонация стала меняться. Поняв, что мы крепко напуганы, Мария Андреевна стала взывать к нашему чувству достоинства.

— Какие вы все-таки трусы, — говорила Мария Андреевна. — Бойтесь открыть дверь своей учительнице. Боюсь, что из вас не выйдет порядочных людей. Ну,

кто из вас храбрый, открывайте двери!

Долго увещевала нас Мария Андреевна. Я испытывал острый стыд. Наверное и товарищи переживали то же. Но никто не решался встать и открыть двери. Мне стало невыносимо. Я откинул одеяло, спрыгнул на холодный пол и сбросил с петли крючок. Дверь открылась, вошла взволнованная, побелевшая от негодования Мария Андреевна. Черные глаза ее гневно сверкали. Она села к столу, молчала несколько минут. Потом сказала с горьким упреком в голосе:

— Как вам не стыдно, ребята! Учителя отдают вам всю свою жизнь стараются вырастить вас достойными гражданами страны советской. А вы чем платите учителям? Давайте договоримся, чтобы никогда, слышите, никогда такое не повторилось! Молчите? Молчание знак согласия. Будем считать инцидент законченным. Так кто, кроме Колосова, храбрый? Кто скажет, что не повторится такое безобразие?

Николай Гаврилов поднялся, сел на кровати, сказал хриловатым от волнения голосом:

— Не повторится, Мария Андреевна. Слово даем!

— Верю. Спите. — Мария Андреевна ушла, не сказав больше ни слова. И потом не упоминала об этом случае, как будто

его и не было.

Урок закончился, класс мгновенно опустел. Я сидел у стола учительницы. Мария Андреевна перебирала тетради, сданные для проверки, молча поглядывала на меня усталыми глазами. Я тоже молчал, ожидая неминуемого неприятного разговора. Я разглядывал морщинки у глаз учительницы, серебристые нити в черных волосах. Заметил штопку на рукаве старенькой шерстяной кофты. Чем-то она напоминала мне мою мать. И уже не казалась мне сейчас такой грозной, эта уставшая, рано постаревшая женщина, и мне стало жаль ее.

— Мне сказали, что ты играешь в шахматы? — спросила Мария Андреевна.

— Немножко играю, — осторожно признался я, с облегчением догадываясь, что разноса не будет. Но при чем тут шахматы?

— Я хочу попросить тебя: приди ко мне, поиграй с сыном в шахматы. Он очень скучает.

В школе знали, что дочь Наташа и сын Володя Марии Андреевны учатся в Ленинграде. Слыхали, что Володя сильно болел и приехал к матери долечиваться, и что он, кажется, совсем оглох на почве какой-то редкой болезни. Не скажу, что с охотой отправился я к Марии Андреевне. Меня смущало, как я буду разговаривать

с глухим человеком. Да к тому ж играю я слабо. Но в глазах Марии Андреевны была такая убедительная материнская просьба, что отказать я не мог. Надев почище рубаху, пригладив жесткие вихры свои, я пришел в знакомую комнату со сводчатым потолком. Так же, как тогда осенью, ярко горел камин. У камина — маленький столик с шахматной доской, расставлены фигуры. Мальчик лет пятнадцати сидел в старом кресле, с закутанными пледом ногами. Он радушно улыбнулся, увидев меня, жестом указал на свободное кресло рядом.

— Садись, — сказал он очень громко, как говорят глухие. Зажав в кулаки фигуры, спросил:

— В какой руке?

Я указал на левую. Мне достались белые. Стали играть. Уже после нескольких ходов и я, и мой партнер поняли, что я игрок неважный и играть со мной неинтересно. Володя смотрел на меня с явным разочарованием, и я мысленно ругал себя, что согласился играть. Володя, наверное, понял мое душевное состояние и, как человек воспитанный, вежливо спросил меня:

— Читать любишь?

Я беспомощно оглянулся, ища глазами Марию Андреевну. Как же я буду говорить с глухим? Но Володя, слабо

улыбнувшись, сказал:

— Не беспокойся, говори, я пойму по губам.

Я сказал, что читать люблю. Стал рассказывать о прочитанных книгах, о Гейне, которым увлекся в последнее время. Володя слушал, вернее, следил по моим губам, и видно радовался, что почти все понимает.

— Мне говорили, что ты стихи пишешь. Принеси почитать. А я вот прозу пишу. — Володя встал с кресла, снял с этажерки две толстые общие тетради и подал мне. “Роман. Красные конники” — прочел я на обложке. Страницы тетради исписаны убористым почерком. Даже иллюстрации сделал автор к своему роману. Вот это здорово! Что мои стихи? Человек роман написал! Володя дал мне тетради, предупредил, чтобы я не затерял их.

— Я это потом не восстановлю, — извинительно улыбнувшись, произнес Володя.

Более близкое знакомство с семьей Маловых, с биографией Марии Андреевны, изменило мое неправильное представление о ней, как о суровой женщине. И я делился своими открытиями с товарищами. А однажды старшекласник рассказал нам о Марии Андреевне, начавшей учительствовать в его родной

деревне.

В глухую, затерянную в лесах и болотах деревеньку Мищелово приехали на двух подводах молодые учителя супруги Маловы. Вещей у молодоженов было немного, но на одной подводе они привезли новенькое пианино — невиданный в этих местах музыкальный инструмент. Зимой в тесную квартирку Маловых часто приходили крестьяне послушать игру молодой учительницы. В деревне все любили скромных и отзывчивых супругов. Они не ограничивались своими учительскими обязанностями. Мария Андреевна, имеющая кое-какие познания в медицине, пользовала крестьян и их ребятишек. Малов обучал выращивать новые для этой деревни овощи, землянику. Заметив, что в окрестностях растет много ивняка, убедил мужиков плести корзины, садовую мебель. И скоро деревня стала солидным поставщиком плетеных изделий в Петербург.

У Маловых родилась дочь, потом сын. Они учились, росли вместе с крестьянскими детьми.

Перед революцией Малов вступил в партию, стал большевиком. У него скрывались подпольщики, преследуемые петербургской полицией, пряталась подпольная литература. А после Октября крестьяне избрали его в сельский Совет.

На Петроград наступал Юденич. Войска белогвардейцев заняли регион, где находилась деревня Мишелово. Белые контрразведчики рыскали по домам, хватая коммунистов, активистов советской власти. Большинству из них удалось скрыться в лесах. Но Малов не смог покинуть больных жену и дочь. Обе метались в тифозном бреду. Нашелся в деревне предатель, указал белогвардейцам на Малова. Учителя схватили и без суда расстреляли на окраине деревни.

— Марию Андреевну стало не узнать, — рассказывал старшекласник. — Словно окаменела вся. Боялись, что умом тронется. Несколько дней приходила и сидела долгие часы у могилы мужа. Потом вроде отошла, но уже никогда не улыбалась. Учила ребят. В партию вступила после разгрома Юденича. А когда ШКМ организовали, ее сюда послал райком партии.

— А пианино? — спросил Степан.

— Что — пианино? — не понял рассказчик. А, ты в смысле — играла ли Мария Андреевна? Пианино она еще раньше продала, семья голодала...

Заканчивался учебный год. На дворе зеленый веселый май. Теперь уроки тянутся особенно долго, невнимательны ученики, рассеянны учителя. Скоро каникулы. Мы строим планы на лето.

Ребята вслух наперебой мечтают о летних рыбалках, походах в лес, о том, как они станут помогать родителям на полевых работах. Только у нас с Гавриловым нет пока определенных планов.

— Ты оставайся со мной. Будем в совхозе работать, да и на школьном участке есть дела. В совхозе подзаработать можно, — советует Гаврилов — Пойдем к Маловой, попросим?

Мария Андреевна выслушивает наши доводы, соглашается, узнав, что мне, как и детдомовцу Гаврилову, на лето идти некуда. Скитаться с матерью по селам?

— Но нужно согласие матери, — говорит Мария Андреевна. — Пошли письмо, пусть придет в Гостилицы. Кстати, побывает на родительском собрании.

В назначенный день мать приехала. Она появилась в комнате общежития с мешком в руках. В комнате, кроме меня, два—три человека, учат уроки, остальные гоняют в футбол, и их истошные крики доносятся снизу в открытые окна. Ребята деликатно удаляются: пусть с матерью посидит, поговорит.

Мать вытаскивает из мешка чиненое-перечиненое мое бельешко. Потом достает гостинцы. Это и пироги с капустой, и вареная свинина, и розовый

мятный сахар в синем кулке. Извлекаются из мешка и две книжки.

— Ты просил “Гулливера”, достала. Пришлось одному рубаху сшить за эту книжку, — говорит мать, вздыхая. — А это “Давид Копперфильд” Диккенса. Я читала когда-то, интересно. У одной хозяйки выпросила, когда шила. Хозяйка книжкой этой крынки с молоком укрывала...

Обрадованный, я горячо благодарю за такой подарок. Особенно Гулливер! Об этой книге я давно читал в других книгах, а в руки она мне не попадалась.

Щупая тощие мои плечи, мать горестно говорит:

— Отощал совсем. Кормят-то как?

— Да ничего... — бормочу я, уплетая вкусный пирог

— То-то, ничего.., — кивает мать. И, вздохнув, добавляет: — И за то, правда, спасибо.

— Как хутор?

— Редко бываю. Стоит. Никто пока не балует, не лазают.

— Окна бы забить, — озабоченно говорю я.

— Так — нечем, доски нужны. Как учишься?

— Пока вроде удовлетворительно, — отвечаю и увожу разговор в сторону.

— Хочу летом в совхозе поработать.

Твое разрешение требуется. Как, мам?

— С такими-то силенками, — трогает она мои руки.

— По силе работу дадут. Я тут с одним пареньком, Колей Гавриловым. Он из детского дома, на лето всегда в школе остается жить. С ним будем вдвоем. Ты с директором поговори, дай согласие, ладно?

Мать обещает. Значит, судьба моя летняя определена.

Собрание родителей проходило в танцевальном зале. Мне так не хотелось расставаться с матерью, и я пошел с ней на собрание. В зале много бородатых мужиков, женщин в платочках, подвязанных узлом под подбородком. Несмотря на май, все одеты: кто в пальто, кто в суконные костюмы. У некоторых сапоги с блестящими новенькими галошами. Деревенский шик! Малова рассказывала собравшимся о том, как учат их детей, какие цели ставит перед учащимися школа.

— Мы хотим воспитать грамотных, культурных крестьян, умеющих пользоваться достижениями агрономической науки, — говорила Малова. — Вашим детям скоро придется работать в коллективном хозяйстве. Вы хорошо знаете, что сейчас в стране идет коллективизация...

При этих словах директора школы в зале слышится приглушенный гул голосов. Выступали потом родители. Некоторые хвалили школу, другие предъявляли претензии.

А потом наш школьный театр показал родителям восхитившую их постановку “Суд над коровой”. Для сценической правды на второй этаж завели двухгодовалую телку, привязали возле сцены, бросили сенца, чтобы не беспокоилась, не взбрыкивала, и начали ее судить. Истец, крестьянин с окладистой бородой, жалуется суду, что мало молока дает коровенка. Суд разбирается. Оказывается, мужик плохо кормит, неправильно за ней ухаживает. Хозяин присуждается ксылке на агрономические курсы, на подписку на журнал “Сам себе агроном”. Слушатели весело смеются, долго аплодируют артистам.

— Надо же, корову в спектакль привели! — смеются крестьяне.

— А мужик-то, ловко отбояривался. “Корма, говорит, не хватает, корма дерьмовые...”

— А оно так и есть. В точку! Плохононе с кормами.

— С умом надо скармливать.

— Так ведь было бы что...

— А насчет совхозов? Слышали, что говорила директорша?

— У нас, может, не скоро еще...

— Надейся! В Гостилицах вон уже создали артель.

— А что — колхоз? Была бы только выгода мужику.

— Будет ли она, выгода...

Я проводил мать. На прощанье она наказывала

— На тебя надежда. Учись, сынок, старайся.

— Буду стараться, мать, буду. Но не всегда получается у меня как надо...

К первому выпуску нашей школы готовились всем коллективом. Тридцать пять парней и девушек уходили в большой и взрослый мир. Выпускники строили планы на будущее, выбирали учебные заведения или работу. Мы, остающиеся учиться, завидовали им. Мы вместе с ними переживали этот торжественный момент, горячо обсуждали, стоит ли, например, Клаусу идти в юридический, когда у него отлично по математике. Старый Сергей Кузьмич тихо радовался вместе со всеми. И его сын Арсений заканчивал нынче школу. Когда мы забежали в прокуренную каморку Кузьмича, он не уставал мечтать и восхищаться:

— Арсен мой в инженеры выйдет. У него уже документ весь взяли в Ленинграде. Первый чуваш инженер станет. Шибко хорошо советская власть

делает, шибко хорошо!

Он покуривал козью ножку, и карие глаза его искрились радостью.

— Один Арсен воспитал. Мать тиф болела, померла. Там еще, на Волге. А я сюда приехал. Валенки катал, по деревням ходил с Арсеном. А как он учиться стал, здесь осел, здесь живу.

К выпускному вечеру готовились всей школой. Ребята раздобыли пчелиного воска, и впервые после революции был натерт до зеркального блеска паркет танцевального зала. Даже из соседних деревень приходили полюбоваться обновленным, праздничным залом. Смотрели в распахнутую дверь на блестящий пол, свежеекрашенные стены и говорили: “Все равно как в Петергофском Большом дворце!”.

Украшенный гирляндами из еловых лапок, красными флажками, ярко освещенный зал заполнили ученики и гости. Выпускники заметны в толпе, такие они важные, сосредоточенные, и в то же время веселые. Они снисходительно отвечают на наши вопросы, держат себя с достоинством взрослых, на равных беседуют с учителями. Каждый выпускник к торжественному случаю приоделся попраздничней. Девушки в лучших платьях, парни в новых рубашках, в надраенных до блеска штиблетах.

Когда в зал вошла Мария Андреевна, ее сразу окружили девочки.

— Какая вы сегодня красивая, Мария Андреевна! — восхищались они.

И верно, сегодня директорша наша совершенно преобразилась, превратилась из пожилой, усталой женщины в молодую, обаятельную. Она одета в черное бархатное платье, на шее медальон на золотой цепочке, всегда скрытые красной косынкой черные ее волосы сейчас красиво уложены. На ногах белые атласные туфельки, на руках перчатки до локтей.

Председатель школьного совета Клаус, в сером костюме и галстук "бабочка". Он самый франтоватый сегодня. Клаус взял под руку Марию Андреевну, провел ее на сцену, усадил за стол президиума.

— Выпускной вечер объявляю открытым! — провозгласил Клаус и дал знак Гаврилову, сидящему за роялем. Тот заиграл Интернационал. Весь зал запел. Когда стихли последние слова гимна, к трибуне, обитой красным кумачом, подошла Мария Андреевна.

— Сегодня у нас большой праздник, дорогие мои друзья, — сказала она. — Мы выпускаем первых питомцев из стен нашей молодой школы. Мы провожаем их в самостоятельную жизнь. Пожелаем же им, кто будет учиться

дальше — учиться только на “отлично”, кто станет работать — работать только отлично. Мы надеемся, что честь нашей школы вы не уроните. Будьте счастливы, друзья!

Голос Марии Андреевны дрогнул, она усилием воли подавила слезы.

— Обещаем быть достойными строителями социализма, — говорили в ответном слове выпускники.

А потом зал загудел, наполнился разноголосым говором, смехом. Не переставая, звучал рояль. Гаврилов играл все, что умел. Полечка сменялась краковяком, падеспань — падекатром. А когда зазвучал вальс, к Марии Андреевне подскочил ловкий общительный Клаус. Он деликатно закружил ее в танце. Мария Андреевна оказалась хорошей партнершей. Ее ноги в туфельках легко скользили по паркету, и на всегда бледном лице выступил румянец. Мы искренне любовались своей директрисой.

А когда Гаврилов устал и, утирая вспотевший лоб, слез со стула, за рояль села Мария Андреевна. Не танец она играла, что-то другое, нам неизвестное, но берущее за сердце, близкое и дорогое было что-то в этой музыке. Лицо Марии Андреевны при этом было мечтательное и печальное, и торжествующее одновременно.

На следующий день утром я встретил Марию Андреевну. Она была опять в старой поношенной кофте, длинной застиранной черной юбке, повязана красным делегатским платочком. Лицо ее буднично озабочено, сердито. Мария Андреевна выговаривала стоящим перед ней бородатым печникам:

— Разве ж это работа, товарищи? Стыда у вас нет!

— Так ведь раствор какой? Дерьмовый, скажем вам, раствор. А цемент вы дали? Вот и оно! — оправдывался один из печников, кося лукавыми глазами.

— Совесть надо иметь, — укоряла печников Мария Андреевна. — Вам деньги платят за хорошую работу, а вы халтурите...

Я с сожалением вспоминал вчерашнюю Марию Андреевну, такую красивую, непохожую на эту, повседневную такую, будничную...





У III. ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

Пренебрежение к моде, платью, внешнему виду было общепринятым для людей того трудного времени. Придерживались спартанских правил и учителя, и директор нашей школы. Мария Андреевна сделала исключение лишь ради выпускного вечера, оправдывавшего некоторые излишества.

Исключением из этих правил являлось все повседневное поведение Игоря Васильевича Глаголева. Он преподавал ботанику, зоологию, химию, рисование. Он всегда приходил на урок бодрый, свежевыбритый, подтянутый, всегда одет в чистый выглаженный

костюм, свежую рубашку. Он был некрасив, Игорь Васильевич, но для нас он был самым красивым мужчиной в школе, самым обаятельным. Никогда мы не видели его угрюмым, опечаленным, раздраженным. Нам нравилась модуляция его голоса, прекрасная дикция, манера гордо носить крупную голову с пепельными волосами, подстриженными ежиком. Мы не просто восхищались Игорем Васильевичем, но старались подражать ему. На уроки Глаголева совестно было приходиться с грязными руками, расстегнутым воротником, всклокоченными волосами. На уроки его стыдно было приходиться с неподготовленными домашними заданиями. Урок Игоря Васильевича — всегда праздник. Никто не чувствовал себя ущербным, тупым. Самые слабые ученики успевали по предметам Игоря Васильевича. Если Степанов преподносил нам новое правило, теорему как нечто очень и очень мудреное, познание которого требует незаурядного ума и таланта, и мы заранее холодели перед почти непреодолимыми препятствиями, то иной был метод у Глаголева. Он умел придавать занятиям радостный и праздничный характер игры, все время подчеркивал непременною возможность у каждого все познать в этом мире. Нужно только быть смелым, любознательным, не отступать перед трудностями.

— Когда я был студентом, — лицо учителя становится лукавым, глаза искрятся в усмешке, — то мы говорили: “Сапоги мои того, пропускают “Аш” два “О”.

Класс в восторге от каламбура. Строгие латинские буквы-обозначения химических элементов кажутся нам теперь более понятными, не пугают своей непохожестью на русский алфавит, и формула воды прочно запечатлевается в памяти, служа надежным эталоном для понимания других химических соединений.

А когда проводятся химические опыты, нет отбоя от желающих ассистировать учителю. Затаив дыхание, следим мы за чудесными превращениями мела, селитры, марганцево-кислого калия. В стеклянных колбах на наших глазах совершаются чудесные таинства природы. Вместе с нами радуется каждому удачному опыту Игорь Васильевич, с доброй улыбкой мудрого кудесника наблюдающий за нашей возней с хрупкими приборами скромной школьной лаборатории.

С наступлением весны мы часто уроки ботаники проводим на открытом воздухе, уходим на поле, в ближайший лес. Мы все любим такие прогулки с Игорем Васильевичем. Еще местами

лежит снег, но уже набухают почки деревьев, зеленеет трава на обнажившейся от снега земле, растут картинами первые весенние цветы — подснежники. Нам, деревенским детям, так знакомо это пробуждение природы. Нам знаком волнующий запах оттаявшей земли, первой зелени трав, тонкий аромат подснежников. Но учитель, беседуя с нами, открывает незнакомые нам, такие таинственные силы природы этих деревьев, трав, цветов.

В руках у Степана ивовый зеленый прут. Он, походя, ловко скашивает свистящей лозой головки подснежников. Вон и другой парнишка вооружился палкой и соревнуется со Степаном в ловкости, всем своим видом привлекая внимание товарищей. Заметив баловство озорников, Игорь Васильевич нахмурился и строго прикрикнул:

— Сейчас же прекратите! Степан!

— Чо, нельзя? Цветы ведь... — обиженно отзывается Степан, не понимая, чего же рассердился учитель.

— Да, нельзя. Этот варварство, — голос учителя ледяной. Редко сердится Игорь Васильевич, и поэтому Степан и его подражатель как по команде бросают прутья. Игорь Васильевич нагибается, поднимает с земли срубленный лозой подснежник, показывает его нам.

— Красивый?

— Есть красивше, — обидчиво говорит Степан, шмыгая конопатым носом.

— Подснежник тоже красивый, — возражает Игорь Васильевич. — Все в природе, ребята, устроено разумно, все красиво, как вот этот подснежник. Это же настоящее чудо, ребята! Еще снег не весь стаял, еще земля как следует не прогрелась, а подснежник уже вырасти успел и расцвести. Возьмите по цветку, взгляните в него как следует. Зеленые листья, прожилки на них, цветочный венчик — и все это произошло из единого маленького семени. Разве это не чудо!

Игорь Васильевич рассказывает нам о том, как растут цветы, деревья. Оказывается, все растения, окружающие нас — сложные организмы, в них проходят удивительно сложные физические и химические процессы. Тот же подснежник — целая фабрика! Растения берут из воздуха вредный для человека углекислый газ, а выделяют очень нам нужный кислород, которым мы дышим. И что кислород нам очень нужен, мы убеждаемся, когда все по команде Игоря Васильевича затаиваем на мгновение дыхание и потом с жадностью вдыхаем свежий весенний воздух, смеясь друг над дружкой. Степан виновато косится на

картину скошенных им подснежников. А мы все со стыдом вспоминаем про себя о порубленных на нашем веку великом множестве всяких цветов, так, зазря...

Неровной была у нас со Степаном дружба. Иногда мы люто спорили и подолгу, потом, ненавидя друг друга, молча сидели за партой, не разговаривая даже на переменах, в спальне. Трудно было приспособиться к характеру вспыльчивого и, в минуты озлобления, всегда несправедливого товарища. Он во что бы то ни стало всегда старался одержать верх. Он частенько ходил с синяками и ссадинами на бледном веснушчатом лице. На него иной раз находила беспричинная злость, тогда он кидался на первого попавшегося и затевал драку. Нередко противником его оказывался здоровенный семиклассник. Не в силах одолеть здоровяка, Степан был по-кошачьи, кусал врага зубами за что попало. Иной здоровяк, еле отцепив от себя руки Степана, говорил с удивлением:

— Ну и злой же ты, зараза! Почему ты такой?

— Рыжий он, — смеялись ребята, наблюдавшие очередную выходку Степана.

Как-то во время урока Степан сильно толкнул меня в бок острым локтем.

— Ты чего? — вытаращил я глаза.

— Отодвинься.

— Тебе места мало?

— Мало! Отодвинься, говорю, черт слепой! — уколол меня в больное место Степан.

Обида охватила меня. Подумав, что ему сказать такое же оскорбительное, я нашелся:

— А у тебя нос кривой...

И верно, острый носик Степана почему-то малость кривой. Он сам-то знал об этом своем физическом недостатке, но в школе я был первым, кто так нахально указал на его уродство. Белое лицо Степана стало красным. Задыхаясь, он прошипел, отодвигаясь еще дальше, благо третьего -- Керта — сегодня на уроке не было:

— А ты...ты — заразный. Лишаи у тебя. Они заразные, отодвинься, слышь?

На перемене Степан во всеуслышание рассказывал ребятам о моем заболевании. В общезнании я встретил настороженные взгляды товарищей. Даже Керт, всегда выдержанный паренек, хорошо относившийся ко мне, с каким-то — мне показалось — брезгливым выражением на лице взглянул на меня и прошел мимо, словно боясь меня коснуться. Я ловил сочувствующие взгляды, но не было их. Отводили глаза Алтынов и Гаврилов. Только Кауров вместе со Степаном откровенно злорадствовали. Им

вторили их подпевалы.

— Его в заразный барак надо отправить. Есть такие бараки в Петергофе, — разглагольствовал Кауров, надувая толстые красные щеки. — Он завшивел к тому же. Гнать таких из общежития. Директору надо заявить.

Алтынов попробовал заступиться:

— Что вы, ребята, он всю зиму дома не бывал, бельишко грязное. У вас что ли вшей не случается?

— Не в таком количестве, — не унимался Кауров. — Бельишко... Мать у него такая...

— Какая!? — подскочил я к ненавистному Каурову.

— Какая...не нужен ты ей, вот какая!

Никогда в жизни не испытывал я такой кровной обиды. Вся кровь клокотала во мне, и слезы невольно лились из глаз. Я выскочил из школы и помчался по парку, не разбирая дороги. Я сейчас ненавидел всех моих товарищей. Глотая слезы, я шептал: "Собаки они все, собаки..." Мне невольно вспомнилась давно виденная картина травли стайей собак облезлого старого пса, забредшего в чужую деревню. Стая залиvisto лаяла на чужака, смелые псы подбегали к нему поближе и хватали зубами за тощие ляжки. Пришелец тихо взвизгивал (громко, наверное, боялся),

пятился, слабо скалился на разъяренных преследователей. Вот так же со мной. Убегу я отсюда куда глаза глядят, не могу видеть никого, не могу! Убегу к матери. Она поймет, она поможет, она всегда может меня уберечь и успокоить. Где ты, мать?

— Ты что тут один сидишь? — кто-то тронул меня за голову. Я поднял глаза. Передо мной стояли Игорь Васильевич и Шемякин. Первым моим желанием было убежать от них, но рука учителя мягко и настойчиво придержала меня за плечо.

— Пойдем-ка с нами, постреляем, — Игорь Васильевич показал мне пистолет “монтекристо”. — К мельнице пойдем, там никого нет.

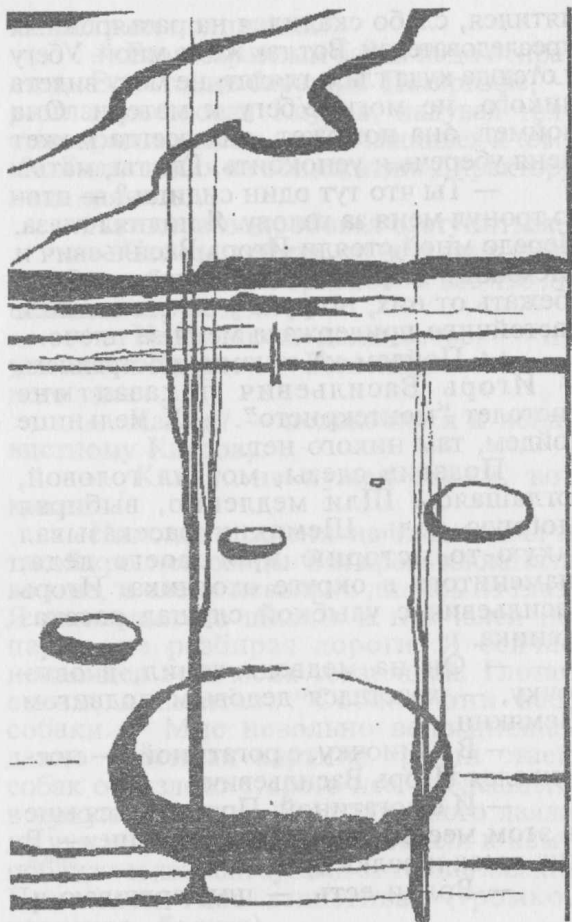
Поддавив слезы, мотнул головой, соглашаясь. Шли медленно, выбирая удобную цель. Шемякин рассказывал какую-то историю про своего деда, знаменитого в округе охотника. Игорь Васильевич с улыбкой слушал рассказ ученика.

— Он на медведя ходил, в одиночку, — хвастался дедовым подвигом Шемякин.

— В одиночку, с рогатиной? — посмеивался Игорь Васильевич.

— И с рогатиной. Провалиться мне на этом месте! — клялся Шемякин. — В этих лесах и волки есть.

— Волки есть, — поддерживаю я



Шемякина. — Из школы шел однажды вечером, видел: глаза волчьи горят как огоньки.

Шемякин подобрал на дороге консервную банку. Долго стреляли, банку продырявили. Потом Игорь Васильевич пригласил нас к себе в комнату пить чай. Игорь Васильевич жил в соседней деревне на квартире, но имел комнату и во дворце. Я впервые переступил порог этого его школьного жилья. Мне здесь все ужасно понравилось. Игорь Васильевич собрал во дворце поломанную мебель, картины, пианино, все своими руками отремонтировал и обставил комнату. Все здесь было необычным, все носило печать изящества, коим отличался сам хозяин комнаты. Я с любопытством рассматривал книги, разные красивые безделушки, расставленные на зеркальном серванте. Осторожно присел на обитое красным бархатом кресло с гнутыми ножками. На полированном красного дерева столе Игорь Васильевич расставил чашки, чайник с кипятком, сахарницу, тарелку с печеньем.

— Угощайтесь, — пригласил он.

После чаепития Шемякин ушел. Собирался покинуть обитель учителя и я, но он задержал меня;

— Колосов, ты как смотришь на то, чтобы мы с тобой сейчас в баньку

сходили? Моя хозяйка сегодня натопила баньку. Пошли?

В баню с моими лишаями, грязным порванным бельем? Я сконфужен до головокружения, отнекиваюсь, но Игорь Васильевич не уступает. И мы шагаем с ним в деревню. Хозяйка учителя, сгорбленная, но юркая старушка в черном платье цветочками и шелковом повойнике на седой голове дает мне мыло, мочалку, березовый веник. Она приходит в предбанник и забирает мое ветхое белье.

— Пока что, я и постираю, на ветерку быстро обсохнет, — говорит старуха, жалостливо поглаживая на меня.

В бане жарко. Игорь Васильевич подает мне черный кусок мыла.

— Бери, голову мыль хорошенько. Это дегтярное мыло, целебное, я люблю им мыться.

Смущенный голым видом своим, я неловко тру мылом мочалку, тычу в голову. Учитель берет из рук моих мыло, сам намыливает мне голову, приговаривая:

— Пригнись над тазом, так... Славно. Теперь сам орудуй, а я парку поддам. Люблю веничком!

После бани пьем чай в старухиной горнице. Я сижу в рубашке учителя, ожидая, пока подсохнет мое бельишко. Я смотрю на Игоря Васильевича и думаю с

тоской; “Может заразиться от меня... Что тогда будет?” Мурашки бегут по спине...

— Как банька, хороша? — посмеивается Игорь Васильевич.

— Хороша! — соглашаюсь я, распаренный, умиротворенный.

— Можешь каждую субботу ходить со мной, — предлагает учитель. — Вдвоем веселее, верно?

Верно, учитель, вдвоем веселее... Настороженный вхожу вечером в нашу спальню, выждав в парке, когда все по моим расчетам должны лечь спать. Но спали далеко не все. Алтынов, Гаврилов и Голов готовили уроки к завтрашнему дню. Ни словом, ни взглядом никто не напомнил мне о произошедшем утром. Алтынов, посмотрев на меня рыжими глазами, спросил:

— Игнат, ты по глаголам уроки готовил? Дай списать, спать хочется, башка, понимаешь, не варит.

С готовностью даю Алтынову тетрадку. В нее заглядывают Гаврилов и даже Голов. Я бесконечно благодарен товарищам, что они не ворошат неприятный для меня случай. И не кажутся они мне теперь теми гавкающими псами, какими я их представлял несколько часов назад. Я засыпаю, чувствуя всем существом чистоту своего тела, сладко щемящую теплоту в оттаявшем сердце.

Как-то, пробегая по коридору в учительскую, я заметил, что дверь комнаты Игоря Васильевича полуоткрыта. Я заглянул в комнату. Игорь Васильевич, одетый в серый халат, красил потолок маховой кистью. Все вещи сгружены в один угол. Увидев меня, он крикнул:

— Заходи, Игнат, поддержи, пожалуйста ведро.

Я взял ведро с краской.

— Какая краска? Какой цвет? — спросил учитель.

— Желтая, — сказал я.

— Правильно, желтая. И еще эта краска называется теплой. Ты видел в парковой беседке синий потолок и стены? Синий цвет называется холодным. А вот желтые, оранжевые, красные зовутся теплыми цветами. Верно ведь, тепло становится, когда смотришь на этот потолок?

Я согласился с учителем. Действительно, в комнате казалось теплее, чем в том же побеленном известью коридоре.

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Игорь Васильевич.

В комнату вошла Зинаида Александровна. В голубых глазах ее удивление и восторг.

— Дорогой Игорь Васильевич! Вы даже малярить можете?

— Я все могу, милейшая Зинаида

Александровна, — отозвался Игорь Васильевич, орудуя кистью. — Я родился в большой и дружной семье земского врача Василия Глаголева. Мы жили тогда в Орле. Мой отец с юных лет старался приучить нас к труду, все делать своими руками. Не верите, я даже шить умею, с белешвейкой потягаюсь. Хотите, я вам модное платье сошью?

— Мне? Платье? — покраснела, как девушка, Зинаида Александровна.

— Вам. А что? Вы еще молоды. Вам пойдет темно-синий бархат...

— Я люблю красный, — сконфуженно призналась Зинаида Александровна.

— Согласен. Он вам тоже к лицу, красный. Берите материю, сошью.

— Что вы, что вы! — замахала руками Зинаида Александровна, вконец смутившись. Есть у вас время...

А Игорь Васильевич посмеивался, продолжая красить.

Потом я помогал учителю расставить мебель, мыть полы.

— ; любимчики записался, — недружелюбно сказал потом Степан.

— Просто помог... — оправдывался я.

— Просто... подлизываешься.

— Помолчи, рыжий, — оборвал его Гаврилов. — Почему не помочь учителю?

Меня бы пригласил — и я бы помог.

— Тебя не пригласил? — не унимался Степан. — Он ему и блокнот подарил, — с этими словами Степан выхватил из-под моей подушки блокнот в глянцевой зеленой обложке.

— Не трожь! — кинулся я к Степану. А он отбежал, раскрыл блокнот и дурашливым голосом прочитал:

— “Маленькому пролетарскому поэту”. Фу-ты, ну-ты — “пролетарскому”! Держите меня, а то упаду!

— Отдай блокнот человеку, — вмешался молчавший до сих пор Алтынов. — Чего пристал к парню. А что? И поэт. Ты вот не можешь, а он стихи пишет.

Степан бросил блокнот на мою постель, озадаченный заступничеством Алтынова, любившего посмеяться над моими поэтическими способностями. Не менее Степана был озадачен и я. И так..,я был благодарен Гаврилову и Алтынову! Обида на Степана стихала. Заступничество показало мне, что не такие уж плохие ребята окружают меня.



IX. ЗАКОЛОЧЕННЫЕ ОКНА

Шагаю по раскисшей под апрельским солнцем занавоженной дороге. Впереди идет Степан. Еще и километра не отошли от Гостилиц — чувствую, промокли ноги. Мои порывевшие, латанные-перелатанные ботинки беспрепятственно пропускают воду. Одна подошва отскочила, и ее пришлось подвязать телефонным проводом. Что промокли ноги-то ничего, терпимо, на ходу ноги не замерзнут, только уж нельзя останавливаться, по опыту знаю. А вот проклятый провод все время развязывается. Жесткий. И сейчас вот ослаб, зачавкала челюсть ощерившейся подошвы. Я присаживаюсь на камень,

перевязываю. Степан сочувственно наблюдает и деловито советует:

— Ты это зря — телефонным, веревкой надоть. Я всегда веревкой вяжу. Веревка намокнет, еще ту же затягивает. Ты попробуй. На веревку!

Степан вытаскивает из кармана штанов крученный шпагат и великодушно протягивает мне. Подошва водворена на место, и мы снова шагаем. Степан сегодня настроен благодушно. И мне понятна причина такого настроения товарища. Через час он будет сидеть дома, мать станет угощать его картофельными ватрушками с молоком, расспрашивать о школьных успехах. Степан, конечно, приврет малость и будет блаженствовать под ласкающим взглядом матери, радующейся прилежанию “младшенького”, как она зовет Степана. А мне еще идти и идти... И застану ли я мать на хуторе? Хотя я и написал ей письмо, но получила ли? Мать редко бывает у меня в школе, пишет редко. Когда писать и о чем писать? Слово живое лучше. С осени я так ни разу и не был на хуторе. Мне очень хочется увидеть его сейчас, увидеть когда-то опостылевший лес, побегать с Цыганом. (Впрочем, Цыгана давно нет в живых, о том писала мать...). А вечером забраться на теплую печь и почитать забытую книгу, послушать неторопливый рассказ матери

о прожитом и пережитом. Она так хорошо и складно рассказывает, уместно вплетая в речь пословицы и поговорки.

— Ты спишь, что ли? — окликает меня Степан. — Я спрашиваю: Нынче летом с Гавриловым в совхоз идешь работать?

— Не знаю еще... Зовет Гаврилов.

— А я бы пошел, если бы не мать... — вздыхает Степан. И продолжает как заправский мужик. — Ну что мы вдвоем с нею? Много ли мы можем? Пуп надрываем, а толку мало — одна тощая коровенка, овца и десяток кур. Все наше хозяйство. Вот окончу школу, уйду из дома, как старший брат Никитка. В Магнитогорске он, плотничает. Посылки шлет...

— Куда же ты хочешь уйти? — интересуюсь.

— Хм, куда! В Ленинград подамся. Там у меня тетка на Васильевском острове живет. Горожанка. Поможет устроиться на завод. А что?

— К тетке можно, - поддерживаю я планы Степана. Мне его заботы понятны, и я ему вполне сочувствую. Но деловой разговор продолжался недолго. Мальчишки еще, мы увидели в придорожном леске на дереве белку и, побросав свои узелки, бросились по ноздреватому черному снегу, проваливаясь и спотыкаясь.

— С той стороны забегай! — азартно кричит Степан, размахивая руками. — Мы ее, шельму, сейчас изловим!

Но белка не ждала, когда ее изловят. Она рыжей молнией метнулась по стволу на землю, перебежала к другому дереву, и мы только ее и видели.

— Бойкая векша, — без сожаления произнес Степан, любуясь зверьком. — Ишь пошла! Летом бы мы ее изловили, теперь снег...

Ни дырявые башмаки, ни пустота в желудках, ни взрослые заботы о жизни не омрачают нас надолго. Всем существом мы ощущаем победное шествие весны. Она наша, весна, с ее играющим солнцем, проталинами, запахом тающего снега и земли, набухающих почек. Мы оживленно обмениваемся сведениями о белках и лисицах, о птицах, беззлобно спорим и смеемся, когда вспоминаем что-нибудь потешное из жизни животных. Давно мы так дружески, по-братски не беседовали, понимая друг друга с полуслова, по малейшему намеку, как в тот ликующий апрельский день. И мне кажется сегодня красивым рыжеволосый Степан, с его кривоватым носиком, с россыпью веснушек, которых стало побольше. И глаза его не сверлят собеседника с настороженностью и недоверием, а глядят ласково. Прямо-таки красивые глаза

стали, с золотыми искорками.

У дома Степана я сожалеючи прощаюсь с товарищем. Мне еще шагать и шагать...

— Ты, может, останешься, а? — спрашивает Степан. — Переночуешь у нас. Вишь, снег посыпал.

— Нет, домой пойду, — отказался я. — Я через Дятлицкую гору, напрямик.

— Сыро там. И не ездят в такое время через Дятлицкую, — рассудительно заметил Степан. — Ну, бывай! — и побежал к крыльцу.

Я шел теперь один и остро завидовал Степану. Он уже дома, а мне идти километров восемь. Я могу сократить путь, но тогда надо идти полем, напрямик. Так я и поступаю, выбираюсь из деревни и беру направление на Дятлицкую гору, на которой мы отдыхали осенью с матерью. Очень скоро я пожалел, что избрал такую дорогу. Чем дальше отдалялся я от деревни, тем вязче становилась земля. На ногах налипло по пуду грязи, и я с трудом ими передвигал. “Поднимусь на гору, там очищу ноги, там посуше будет...” — успокаиваю я себя. А мокрый снег шел все гуще, затягивая белесой пеленой все вокруг. Вон уже и Дятлицкую гору еле видно. Я спешу, задыхаюсь от усталости. В одном месте, желая обойти грязную проталину, я направился через заснеженную

впадину. Но стоило мне наступить на снег, как земля под ногами поползла вперед. Я рванулся назад, но глинистая почва крепко держала мои ноги. Только теперь я догадался, что это карстовая воронка, заполненная шевелящейся снежной кашей. Чувствую, что медленно сползаю по склону в страшную воронку, из которой мне не выбраться. В отчаянии я хватаюсь за сухие стволы бурьяна, растущего на краю воронки, поочередно высвобождая ноги из топкой и липкой грязи. Вот я на безопасном месте, беру направление на гору. У подножия ее кончается паханое поле, идти стало легче по целине. Теперь почти до самого дома дорога идет лесом. Быстро темнеет. Еще гуще сыплется с неба мокрый снег, хлюпают под ногами лужи. Шагаю, не разбирая дороги. Миновал околицу соседней с нашим хутором деревни Глухово. И снова лес. Теперь скоро мой дом. А что мне мешает шагать? Ощупываю полы своего пальтишка — они, намокшие днем, сейчас обледенели и шуршат как жестяные. Знакомая до слез тропинка. Она кончится у самого крыльца моего дома. Поджидает ли меня мать? Как она нужна мне сейчас, замерзшему, голодному, смертельно усталому, напуганному тяжелой и опасной дорогой... Я суеверно шепчу про себя: “Будь дома, будь дома...”

Но нет, последний поворот тропки в ольховых кустах, и мне виден в серых вечерних сумерках темный печальный наш дом. Приблизившись, я увидел доски, перекрещивающие окна. “Послушалась меня мать, заколотила окна...— равнодушно подумал я. В темноте отыскал веревку, потянул за нее. За дверью загромыхала лестница, припирающая изнутри входную дверь: мое изобретение. Толкаю дверь, вваливаюсь в холодные сени, с трудом открываю набухшую дверь в избу. И там холод, стойкий нежилой запах, от которого тоска сжимает сердце. Нашариваю на загнетке спички, зажигаю лампу. Хорошая предусмотрительная мать. Лампа заправлена керосином, вычищено стекло. У плиты, встроенной в русскую печь, навалены сухие дрова, и даже — о, радость! — в самой плите уложены дрова помельче, и лучинки подсованы. Подношу спичку — и вспыхивает в плите огонь, весело набирает силу. От чугунной плиты уже идет благодатное тепло. Снимаю, наконец, пальто. Стесняющее движения, обledenевшее, оно странным колоколом стоит на полу... Приношу из сеней ведро со льдом (вода промерзла до дна), ставлю на плиту. Растает, заварю чай. Кто-то осторожно тронул мою ногу. От неожиданности меня словно током пронзило от головы до пят. Кто это?

Скосил испуганно глаза на пол, ожидая увидеть что-то странное. Кошка! Старая наша Машка не покинула, как хозяева, дом, осталась верной ему. Как же ты живешь здесь, бедная Машка?!

Что ты ешь? Мыши-то хоть тут водятся? Кошка обрадованно трется о мою мокрую ногу и громко мурлычет. Голос ее звучит голодно и просительно, бока впали. Эх, Машка! Чем же тебя накормить? А картошка! Да и сам я почувствовал прямо-таки острую боль в желудке. Я лезу в подпол, достаю картофель, ставлю вариться. И скоро мы с Машкой едим рассыпчатую картошку, грызем сухари, обнаруженные в буфете. Не помню, как добираюсь до кровати, набрасываю на себя поверх одеяла материн полушубок, и засыпаю мертвым сном под неумолчное мурлыканье Машки, пристроившейся возле моей головы.

Просыпаюсь поздно. На улице продолжает идти мокрый, такой ненужный весенний снег. В избе похолодало. Была бы мать, она уже натопила бы плиту, и картошку поджарила, и ласково приговаривала бы, занимаясь домашней уборкой: "Пора вставать, Игнат. Картошка остынет." Нету матери, да и не скоро, видать, она придет на хутор, потому что может не знать о моем приходе. А еще

хуже, если мама заболела... “Жизнь есть борьба!” — всплывает в памяти любимая поговорка матери. Решительно сбрасываю с себя одеяло, полушубок, соскакиваю на холодный пол. Меня охватывает жажда деятельности, я мигом растапливаю плиту, ставлю чайник, кастрюлю с картошкой. Успеваю сухарика дать Машке. Мой взгляд останавливается на узелке с бельем. Узелок мокрый, запачкан глиной — это когда я выбирался из той страшной воронки. Вспомнил ее — мурашки по спине. Бр-р-р! Узелок навел на мысль: надо бы постирать белье. Этим я сейчас и займусь. Вспоминаю, как это делает мать. Она обычно кипятит белье в специальном баке. Ставлю на плиту бак, наполняю льдом из деревянной кадушки, что стоит в сенях.

Уютнее стало в доме. Тепло. Кошка сидит на скамье возле печи, поджав передние лапки под грудь, жмурится на огонь, всем своим видом выражая довольство. В баке с бульканьем кипит мое бельишко. Я читаю Жюль Верна “Дети капитана Гранта”. Второй раз читаю эту замечательную книгу и забываю о своих горестях.

...Дверь со скрипом распахивается, в избу входит высокий тощий человек в плаще, ему пришлось даже пригнуться, чтобы не стукнуться головой о притолоку.

Отец! Смотрю во все глаза на гостя; длинное лицо, борода клинышком, очки. Отец не носит очки.

— Вы хозяин этого дома? — вежливо спрашивает гость.

— Да...Я... — неуверенно отвечаю.

— Профессор Паганель, — представляется гость. — Разрешите у вас обогреться... Да вы, кажется, спите, молодой человек!.. Игнат, ты спишь? — тронул меня за плечо Паганель. Прямо как в сказке! Откуда на хуторе... Я с трудом открываю глаза. Передо мной стоит улыбающаяся мать и трясет за плечо.

— Ты вчера пришел? Я так и знала... Не успела приехать вчера, лошадь у хозяйина расковалась. Пока водил в кузницу, пока что... Вот сегодня приехали из Волковиц., — рассказывала мать, раскладывая на столе, на лавке мешочки, кульки, свертки, туески — свои обычные натуральные заработки. На пороге сидел бородатый мужик и дымил махорочной сигаркой. Он докурил, притоптал окурок тут же на полу у дверей, сплюнул и сказал, поднимаясь:

— Мне пора, Павловна!

— Чайку, Демьяныч?

— Тороплюсь, Павловна. Мне еще до света к брату завернуть надо. Прощайте, милые.

За окнами на дворе загремели

колеса отъезжающей телеги.

Мать принялась за уборку. И все как будто само собой делается у нее. Прошел какой-то час, а уже желтел свежевывмытый пол, жарко топилась русская печь, на столе горка очищенного картофеля, в кастрюле размешано тесто из ячменной муки. “Сейчас блинков...” Мать проверяет бачок с бельем, сокрушенно охает:

— Ты все белье вместе кипятил: белое и крашеное. Раздельно надо. Вон у тебя что получилось, — показывает она крепко засиненное, недавно бывшее белым белье. Я сконфужен неудачей до слез.

— А ты не унывай, — успокаивает мать. — Рубахи-то старенькие совсем, так доносишь, а там новые заведем.

Вздыхаю с облегчением, конечно же соглашаясь носить подсиненные рубахи.

— Ты — водички... — сует мне ведра в руки мать. — И дровишек малость подколи. Там, за домом, ольха сухая.

Я медлю, нерешительно смотрю на ноги свои, обутые в старые галоши. Мать перехватывает мой взгляд, всплескивает руками.

— Ну совсем из головы вон! — говорит она. Я же тебе сапоги привезла. Демьяныч дал, сыновы сапоги. Костюм ему перелицевала. Сапоги еще совсем хорошие. Вот, погляди.

С этими словами она извлекла из мешка сапоги с голенищами. Есть заплатки на сапогах, но подметки еще крепкие. Сапоги густо смазаны дегтем и хорошо пахнут. Я несказанно обрадован такому подарку. Быстро натягиваю сапоги, иду на улицу. Давно я не испытывал такого счастливого состояния. Разве не великое блаженство без всякой опаски идти по грязной тропе, не боясь, что твои бедные ноги сразу ощутят холодную воду весенних луж. Хотя и заплатки на сапогах, а воду не пропускают. И так прочно чувствуешь себя на земле! И шаг тверже, увереннее.

Натаскиваю из пруда воду в бочку, что стоит в сених. Потом колю дрова. В ожидании обеда обхожу наш участок, и каждая примета минувшей моей жизни на хуторе трогает мое сердце, вселяя в него сладкую грусть. Вот во льду вмерзла цепь, на которую изредка привязывали Цыгана. Многоопытный пес надувал шею, когда ему прилаживали ошейник. Потом, при удобном случае, он высвобождал голову из ошейника и гулял себе на воле. Давно уже нет в живых моего верного старого пса. Оставшись на хуторе один, Цыган стал промышлять пропитание у соседей, забегал в деревенские дворы. А однажды присоединился к стае таких же бродяг и полакомился свежеебод-

ранным бараном, подвешенным хозяином в сарае. Цыган был захвачен хозяином на месте преступления и убит колом. Подробности гибели собаки мне еще раньше сообщила мать. Я горько вздохнул, вспомнив своего четвероногого друга. За домом, на подтаявшем снегу, строчка заячьих старых следов. Машинально иду по следу, представляю себе, как косой бежал мимо дома, побежал дальше, в ольховую рощицу, что метрах в полста от нашего дома. В безлистой и серой сейчас рощице темно-зелеными пирамидами выделяются редкие ели. Я углубляюсь в рощу и неожиданно натываюсь на обгоревший остов шалаша на маленькой полянке. То для меня не простой шалаш, то был типи — вигвам индейский. А индейцами прошлой весной стали я и мой родной дядя Сергей. Так уж получилось, что дядя мой Сергей был лишь на один год старше своего племянника. Мы крепко дружили. Нас нисколько не интересовала семейная иерархия, мы — товарищи, мы равны, и никто из нас не берет верх.

Как-то Сергей принес зачитанную книжку “Маленькие дикари”, написанную человеком со сложным для нашего языка именем — Сеттон-Томпсон. Мы забирались на чердак, на сено, и запоем читали книжку вместе. Мы переживали, следя за необыкновенно интересными

событиями, происходящими с маленькими героями в канадских лесах. Все, что рассказывалось в книжке, было настолько увлекательным, что мы только о том и говорили. А потом и сами решили играть в индейцев. Гнули луки, строга́ли стрелы, без усталости упражнялись в стрельбе по целям. Мы изготовили себе головные уборы из перьев, сшили мокасины из старого брезента. А потом взялись за постройку типи. Нарубили ольховых жердей, еловыми ветвями укрыли остов экзотического жилища. И вот мы вдвоем, в ночном теплом лесу. Горит, потрескивая, костер в просторном нашем типи, внутри тепло становится, уютно. Мы немножко боимся одиночества, этой ночи, таинственного молчания леса. Мы громко беседуем, подбадривая себя, кипятим чай. Долго не ложимся на постели из еловых лапок. Я все ленивее отвечаю Сергею. Наконец, засыпаю. Проснулся, как ужаленный, от громкого крика моего дяди: “Игнат, горим!” Он тащит меня за руку из охваченного пламенем шалаша, превратившегося в огромный факел. Смолистые еловые ветки и сырые горят хорошо, словно политые керосином. Запоздало вспоминаем, что в окне остались наши старенькие одеяла, медный чайник, наши луки и стрелы, охотничьи ягдташи, мокасины, прочие

дорогие нам вещи. После пожара мы уже не вернемся к нашей увлекательной игре — частице реальной жизни нашего детства. Пройдут многие годы, но всегда с особой признательностью будем мы вспоминать эту игру в индейцев, охоту на “бизона”, ночевку в типи у настоящего лесного костра.

Вернулся домой печальный, растроганный воспоминаниями. За обедом мать сказала, внимательно глядя на меня:

— А что если нам с тобой в Питер податься? Или в Красное Село? Я там на железную дорогу работать пойду. И я мытарюсь, и ты там один как сирота...

— Школу жалко бросать. Привык я... Интернат все же. Еще потерплю. И дом у нас.., — я подбирал слова, чтобы убедить мать и себя тоже в необходимости не менять коренным образом то сложившееся, что у нас с матерью было. Так много в нашей семье перемен, что я инстинктивно боялся новых, грозящих для нас еще большими бедами и неудобствами.

-- Что — дом? Дом продать можно, — равнодушно говорит мать.

Мне стало жарко от этих слов. Я схватил руку матери и просяще проговорил:

— Ты только дом не продавай. Пообещай, что не продашь!

Мать долго молча смотрит на меня и обещает клятвенно:

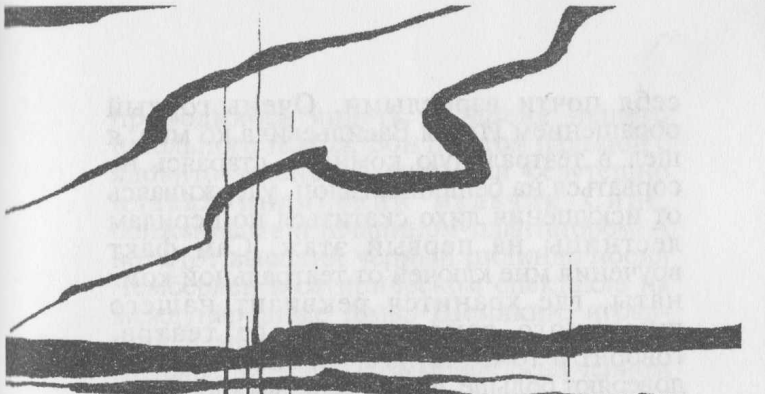
— Не продам, Игнат. Дом и верно — опора в жизни. Дома и стены помогают, так говорят в народе. Дом нам нужен.

— И ты, мама, окна не заколачивай.

— Не буду. Плохого человека доски не остановят, а на доброго тоску нагоняют, словно и хозяев у дома нет.

Долго мы сидели в вечерней темноте возле печи с горячими углями и говорили, говорили, перебивая друг друга. Мы говорили о том, как будем жить. И планы окрыляли нас, вселяли смелость в наши сердца и веру, что все так и будет, как мы предполагаем. Впервые сегодня я почувствовал себя ответственным за эти планы. До сих пор меня вели взрослые: отец, мать, учителя... Сейчас я понял: отныне мне идти самому первым, не ожидая, пока проторят дорогу, а самому прокладывать след по целине своей жизни.





X. ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

Я бежал по скрипучему паркету темного школьного коридора. Вдруг сильная рука остановила меня.

—Ты мне нужен, Игнат,— сказал Игорь Васильевич, удерживая меня. — Мне надо с тобой посоветоваться. Возьми эти ключи и ступай в театральную, я сейчас там буду.

Неожиданные слова учителя озадачили меня, повергли в смятение. Со мною советоваться? Значит, мой совет чего-то стоит для Игоря Васильевича? А почему бы и нет? Пошел последний, третий год нашей учебы в ШКМ. Мы — семиклассники, выпускники. Мы почувствовали

себя почти взрослыми. Очень гордый обращением Игоря Васильевича ко мне, я шел в театральную комнату, стараясь не сорваться на бешеный галоп, удерживаясь от искушения лихо скатиться по перилам лестницы на первый этаж. Сам факт вручения мне ключей от театральной комнаты, где хранится реквизит нашего школьного самодеятельного театра, говорит о том, что нам, семиклассникам, доверяют больше, чем остальным ученикам. Игорь Васильевич обычно допускал к реквизиту старшеклассников, делая редкие исключения для ребят других классов, обладающих, например, талантами, нужными в изготовлении декораций, костюмов, муляжей.

Массивная дверь театральной бесшумно открылась. В нос ударили запахи краски, клея, лежалой материи и смолистого дерева. Вся эта круглая комната с тремя высокими окнами и сводчатым потолком, заставлена декорациями, театральной самодельной мебелью, на которой сидеть надо с опаской, так она непрочна. Возле самых окон большой круглый стол из красного дерева, окруженный простыми не крашеными табуретами, сделанными в нашей школьной мастерской. Возле стола зингеровская швейная машина, на которой лежит недошитая одежда. Почти все, что заполняло эту чудесную комнату, мне уже

приходилось видеть на сцене нашего школьного театра. Вон под той пальмой с ядовито-зелеными листьями безутешно плакал индийский мальчик Синг, обиженный англичанином-плантатором. А вот этот высокий черный цилиндр носил Чемберлен в сатирическом спектакле на международные темы. Шемякин, игравший Чемберлена, хищно скалил крепкие молодые зубы и сквозь монокль на черном шнурке тарашил глаз на негодующих зрителей. В углу притулилась огромная суковатая дубина из папье-маше. Этой дубинкой убивали селькора. Помню, как зрители, среди которых много было крестьян из окрестных деревень, переживали за селькора, изо всех сил стучали ногами, безуспешно кричали ему, беспечно шагавшему по лесу, что его подкарауливают кулаки. На полке аппетитно золотятся подрумяненные крендели, булки, пироги. Издали они так похожи на настоящие, эти булки из газеты, покрашенные охрой. Непременно же ребяташки на первом представлении, где крендели эти булочник подавал в форточку окна воображаемому покупателю, поверив в достоверность кренделей, стремглав выбегали на улицу, чтобы подобрать с такой безумной щедростью выброшенные лакомства.

Все эти сказочные вещи делали

сами ребята под началом Игоря Васильевича, умевшего делать буквально все, проявляющего неистощимую фантазию, когда, например, из куска марли и нескольких кусков фольги он изготавливал великолепную королевскую мантию, из куска старого брезента — щегольские сапоги для мушкетера.

Я был немного разочарован, когда вслед за Игорем Васильевичем в театральную вбежали еще десяток ребят из нашего класса. Были тут и Алтынов, и Гаврилов, и даже Кауров, и уж, конечно, Степан. Пришли Зина Марянина, Катя Бочарова и стеснительная Марта Мейциканен. Значит, не только со мной собирался советоваться учитель. Но досада моя была мимолетной: начал-то он с меня...

По команде Игоря Васильевича все расселись вокруг стола.

— Я пригласил вас сюда.,— начал Игорь Васильевич, обводя всех взглядом. Воспользовавшись паузой, Шемякин продолжил напыщенно:

— ...господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие...

— ...к нам едет ревизор...— заключил под общий смех, принявший шутку ученика, Игорь Васильевич. Он поднял руку, призывая к вниманию.

— Не ревизор едет к нам, а гости, — продолжал он. — В канун октябрьских

праздников у нас в школе пройдет волостное собрание активистов. Будет развернута сельскохозяйственная выставка. Наш драмкружок попросили дать для актива спектакль. Я привез из Ленинграда новую пьесу о деревенских комсомольцах. Я собрал вас, чтобы сейчас же почитать пьесу и распределить роли. Будем ставить?

— Будем! — согласились ребята.

— Значит договорились. Шемякин, читай пьесу, — приказал Игорь Васильевич, подавая тощую брошюрку. — Прощу слушать внимательно.

Шемякин постарше всех нас немного. В деревне еще совсем недавно таких парней женили. Он был красив, этот Шемякин, высок, строен, имел хороший голос. Шемякин — признанный исполнитель первых ролей в наших спектаклях, правая рука Игоря Васильевича в делах театральных. Поговаривали, что Шемякин после окончания школы собирался поступать в театральное училище, но его оставили преподавать математику в пятом и шестом классах, как только он закончил семилетку. Он же наш комсомольский вожак. Шемякину обещали через два года дать путевку в театральную студию. И все мы полагали, что артист из Шемякина получится. Еще станет известным, как Качалов.

Пьеса всем понравилась, задела за живое. Уж очень созвучна была ее тема событиям, которые происходили вокруг нас, участниками которых вольно или невольно становились мы, ученики.

Игорь Васильевич начал распределять роли. Секретаря комячейки, конечно же, с общего одобрения взялся играть Шемякин. Он позволил себе чуть пококетничать, предложив вместо себя Колю Гаврилова, но не очень настаивал на своем предложении. Гаврилову же досталась роль председателя сельсовета.

— Игнат, может ты возьмешь роль?
— обратился ко мне Игорь Васильевич.

— Я... роль? — глупо пролепетал я. Меня словно кипятком ошпарило. Одна только мысль, что я буду выходить на сцену перед сотнями глаз зрителей, повергала меня в трепет.

Долгие годы уже после школы я еще не смогу избавиться от липкой паутины унижительной застенчивости. Люди порой считают застенчивость за нравственное достоинство, но я всегда иного мнения. Наглость — худо, конечно, но застенчивость в известных условиях — зло. Иногда застенчивость принимается за трусость. Так ли это?.. Я, пожалуй, не был трусом. Я мог, например, на спор отправиться в полночь на соседнее кладбище. Не был трусом, если иметь в виду, что я, деревенский парень,

воспитанный с малых лет на рассказах о мертвецах, разгуливающих над своими могилами, чертях и ведьмах. Хотя умом все эти сказки не признавал, сердце мое все же трепетало и млело от ужаса при малейшем шорохе,

Отказаться, отказаться. Никакой роли. Наверно, мой растерянный вид вызвал мимолетную улыбку сидящей рядом Зины Маряниной. В улыбке этой были сожаление и осуждение. А может мне показалось, и улыбки не было вообще, так, безразлично скользящий взгляд. Пусть даже так, но самолюбие мое пребольно ущемлено.

— Ты отказываешься, Игнат? — переспросил Игорь Васильевич.

— Нет, почему же, я согласен, — подавляя в себе смятение, храбро сказал я.

— Вот и славно. Возьмешь роль Васи, а роль Стеши...— Игорь Васильевич сделал паузу и указал рукой на Зину. — Роль Стеши тебе, Марянина. Идет?

— Я согласен, — вырвалось у меня. Ребята хихикнули.

— И я, — подтвердила Зина, озадаченно взглянув на меня синими глазами.

Уже после, получив роль и получше ознакомившись с пьесой, я в смятении подумал, что роль жениха Стеши не очень— то мне подойдет, она потребует раскованности. Хорошо хоть говорить Васе много не придется. Что ж, слово дано, надо его

сдержать!

Октябрь выдался холодный, дождливый. По традиции мы, школьники, помогаем совхозу копать картошку, убирать турнепс, капусту. До обеда мы в поле, учимся после обеда, подремываем, усталые, рассеянно слушаем учителей. А они к нам в эти дни снисходительны. Ведь устали и они, отработав вместе с нами эти полдня в поле.

Как всем ребятишкам деревенским, мне нравится убирать картофель. Я шагаю с ведром вдоль распаханной плугом борозды и выбираю клубни, вороша землю тямкой. Два куста — ведро. Картошку высыпает в кучи. Рядом со мною идет Алтынов. У него дело спорится живее, и мне приходится спешить изо всех сил. Вот этот черт Алтынов! Он, конечно, нарочно жмет, чтобы я выдохся. А быть побежденным мне не хочется. Особенно сегодня. Недалеко от меня работают девчата, а с ними Зина Марянина. В ее глазах мне и не хочется показаться слабаком, хотя, похоже, ей до меня ну никакого нет дела! Она и не смотрит в мою сторону. Я припоминаю вчерашнюю репетицию. Работа над спектаклем увлекла всех. Мы старательно выполняли все подсказки нашего придирчивого режиссера Игоря Васильевича. Всегда мягкий — он даже на уроках иной раз молча сносил озорство

своих не в меру расшалившихся учеников — здесь, на репетициях, был суров и требователен. Он еще и еще раз заставлял повторить ту или иную реплику, мизансцену. “Гаврилов, Гаврилов, — восклицал Игорь Васильевич, громко хлопая в ладоши — знак остановки. — У тебя во рту каша? Пусто? А похоже — каша, следи за дикцией. Зритель должен слышать и понимать каждое слово, иначе он не узнает, что ты говоришь. Давай снова...Как там? “Сельский совет решил...” Меньше других Игорь Васильевич “гоняет” Шемякина. А нас с Зиной он вообще отдал под опеку Шемякина. “Я из вас, ребята, великих артистов сделаю, — дурачился наш опекун.

— Из тебя, Зиночка, Комиссаржевскую, из Игната — Щепкина. Итак, повторим еще раз сценку и можете быть свободными!” Изобразив на лице живое участие, Шемякин этак задумчиво спрашивает нас: “Вы любите друг друга, молодые люди?” “В тексте нет слов “молодые люди”, — поправляю я. Текст надо воспринимать творчески” — поучает Шемякин и просит повторить реплику, с нажимом произнося: “Вы любите друг друга, молодые люди?” Я отвечаю “да” и смотрю на Зину. Та заливается краской, губы ее еле шевелятся, но слов не слышно. Удивительно красиво краснеет Зина

Марянина, и очень точно в народе эту краску на юном лице девушки называют маковым цветом. “Не слышу” — кричит Шемякин. “Да...” — негромко произносит Зина и в голосе ее звучит досада...” Ну и живите, и любите, да женитесь поскорее, а на родителя-отчима плюньте. Пусть знает отчим, что не старый режим на дворе”, — солидно вел свою партию Шемякин. Но при этом он озорно подмигивает нам, чем еще больше смущает Зину, и та убегает, не получив разрешения режиссера.

Я изредка поглядываю на Зину. Она чувствует это, хмурится и краснеет как на репетиции. Мне приятно смотреть на нее, а почему, не могу объяснить. Ведь третий год со мною рядом эта девушка, тихая, невидная как воробышек, старательная, но далеко не первая ученица. И кажется мне, что я только недавно совсем увидел ее. Что бы это значило? Нет, мне не приходили на ум высокопарные слова вроде “пришла первая любовь”, хотя немало таких слов я вычитал в книгах. Мне было необыкновенно хорошо видеть Зину, и этого было достаточно. Я искал и находил в ней все новые достоинства, которых раньше не замечал, и теперь удивлялся своей слепоте, Мне нравилось, как она улыбается, как поправляет волосы, спадающие на глаза,

нравился ее грудной голос, ее походка. Я находил оправдание, если случались у Зины неловкие поступки, заминки у доски, когда ее спрашивал учитель. “А другие-то тоже плавали по этому вопросу”. Вот и сейчас я отмечаю, что Зина ловчее собирает картофель, не оставляя после себя клубней в борозде. А уж в труде крестьянском я знаю толк. Работает Зина старательно, с удовольствием работает, как может работать человек, ценящий и свой и чужой труд, выросший в семье тружеников.

Последнее время я все чаще стал заглядываться в зеркало. Мне не нравится моя физиономия, мне она кажется грубой: нос толст, глаза маленькие. У многих моих одноклассников отработана старательно прическа “политика”, когда волосы зачесываются назад. Попытка навести “политику” на своей голове у меня не увенчалась успехом, Гаврилов советует завязывать волосы на ночь чалмой из полотенца, предварительно смочив их. Мочил, увязывал, волосы упорно торчали дыбом. Мучился со своей прической и Степан, повторяя за мной все мои парикмахерские ухищрения. Однажды Степан рано утром разбудил меня и упавшим голосом сказал; “Игнат, потрогай голову мою”. Недоумевая, я коснулся рыжих его волос. Они были

крепкими как кость! Сон разом пропал, я вскочил, воскликнул: “Что это, Степка! Колтун?” Я знал, что есть такая болезнь волос — колтун. “Клей...— чуть не плача, отвечал Степан. — Столярный... Кауров научил. Сразу, мол, прическа образуется. Ты скажи, что мне делать?” Я потащил растерявшегося товарища на кухню. Там сердобольная кухарка Настя нагрела воды и Степан долго отмывал клей, благо день выдался воскресный. Правда, после такой рискованной процедуры рыжие волосы Степана стали послушно причесываться назад.

Прическа...лицо...А одежда? Я стал стыдиться своего одеяния. Застиранная добела толстовка из “чертовой кожи”, из такой же ткани и такого же возраста штаны, никогда не знавшие утюга. На коленях пузыри, сзади — заплаты. В аккуратных же заплатах скороходовские ботинки, когда-то такие шикарные, со скрипом...Многие мои товарищи одеты не лучше, многие, но не все. Каждый старается хоть как-то улучшить свой гардероб. Николай Гаврилов, например, ухитрился приобрести даже самый настоящий костюм из серого сукна, фуражку с лакированным козырьком, и — верх роскоши! — галстук павлиньей раскраски. Правда, Николай не решался надеть галстук, не набрался храбрости, но

галстук был, и вся наша комната с удовольствием примеривала галстук на свои тощие юношеские шеи. Обзавелся брюками (не штанами), рубашкой “апаш” и желтыми штиблетами Степан. Он очень берег обнoвы, часто раскладывал их на кровати, чтобы выправить складки и опять уложить в сундучок. Иногда утром, когда мы все еще спали, Степан надевал новые штиблеты и прохаживался по комнате, испытывая, наверно, великое блаженство. Новое почти не носилось ребятами. Новое — для праздников, это они переняли от своих родителей — крестьян, поступавших также. А праздники были так редки...

В моей корзине, затолканной под кровать, кроме залатанного белья ничего парадного не было. Но я себя обойденным судьбой не считал. Под тощей подушкой моей лежала старая помятая жестяная коробочка из-под монпансье, а в ней двадцать восемь рублей. Эти деньги я заработал летом в совхозе, работая на пару с Николаем Гавриловым на сенокосе. Этих денег как раз хватит для приобретения великолепного костюма “юнгштурм”. Гимнастерка, брюки-галифе, фуражка, ремень с портупеей. Русские сапоги мать мне уже заказала и к празднику обещала привезти в Гостилицы. Юнгштурмовка! Я уже представлял, как буду выглядеть в таком костюме, так

реально представлял, что даже чувствовал приятное давление портупеи на плече, запах кожи ремней и новой ткани гимнастерки. Одетый в юнгштурмовку, я подхожу к Зине с небрежным таким видом, словно юнгштурмовка для меня вполне привычная заурядная одежда. “Может в кино, Зина?” — спрашиваю я, точь-в-точь как на днях произнес эту фразу своей знакомой девушке, доярке из совхоза, неотразимый Шемякин. А что? И приглашу! Пойдет?.. А почему бы ей и не пойти. Пойдет, наверно. Это будет мое первое приглашение девушке. Впрочем, не надо задаваться, будущее покажет. А пока мне нужна юнгштурмовка, я не могу без нее. На этой неделе Игорь Васильевич едет в Ленинград за учебниками и тетрадями, он обещал приобрести мне юнгштурмовку. Только сказал: “Такой костюм носят только комсомольцы...” “А я скоро вступаю, мне рекомендацию дают”, — поспешил я заверить учителя. “Хорошо, будет тебе костюм”, — заверил Игорь Васильевич. Завтра я отнесу деньги.

Рано утром мне сквозь сон показалось, что кто-то пристально смотрит на меня. В сознании запечатлелись белые как лен волосы Кости Кюта, бледно-голубые выпуклые его глаза. “Снится” — вяло подумал я, пытаюсь

отогнать видение. Но сон уже не шел, почему-то тревожно стало на душе. Я окончательно проснулся, встал с постели. Ребята мирно спали. Спал, посапывая, и Костя, свесив руку с кровати. Я поправил свою подушку и вдруг почувствовал, что под нею нет жестяной коробки. Я поднял подушку — пусто! Переворошил всю постель — коробка с деньгами исчезла. Я лихорадочно перебирал в памяти возможные варианты, объясняющие таинственное исчезновение коробки, но ничего не мог установить. Потерял где-нибудь? Так я не брал никогда с собой коробки, да и карманы в штанах из чертовой кожи дырявые. Нет коробки, нет денег, не будет красивой юнгштурмовки. Одеваясь, я с особой остротой увидел прямо-таки нищенскую убогость своего повседневного одеяния. Не скоро я сброшу эти обноски с плеч своих. В глубокой тоске сидел я на кровати, размышляя над внезапно свалившимся на меня несчастьем. Куда же могли пропасть деньги? Наверняка их вытащили из-под подушки. Но кто? Стоп! Я видел лицо Кости сегодня утром. Но это мог быть только сон? Я кинулся к кровати безмятежно спавшего Степана и затряс его, стаскивая толстое ватное одеяло.

— Отстань, что тебе, — недовольно бормотал Степан, натягивая одеяло на

плечи.

— Проснись, Степан. Деньги у меня пропали...— негромко говорю я.

Из-под одеяла высунулась конопатая физиономия Степана, светлые глаза горят любопытством. Как и не спал Степан.

— У кого пропали?

— Да у меня. Двадцать восемь рублей.

— Ого! — привстал Степан. Он о деньгах знал, знали все в нашей комнате о существовании жестяной коробки. Не было в истории школы, чтобы кто-нибудь украл у товарища хотя бы кусок хлеба. А тут деньги! И какая крупная по нашим меркам сумма.

— Кто бы это мог? — морщит лоб Степан, быстро одеваясь.

Я рассказал, что под утро видел во сне Костю Кюта.

— Он украл! — быстро решил Степан. — Потрясти маленько надо зануду, признается.

— Но я во сне...— замахал я руками на товарища и попросил его пока своих предположений о Косте не высказывать. Но Степан не удержался, и скоро проснувшиеся ребята шумно обсуждали чрезвычайное происшествие, откровенно при этом косясь на Костю. Он один оставался внешне безучастным. Он спо-

койно одевался, натягивал свои добротные сапоги с голенищами. Костя Кют явно собирался куда-то уходить.

— Кют, ты не торопись, — удержал его Алтынов. — У парня деньги пропали, спер кто-то, а ты уходишь?

— А мне какое дело? — невозмугимо ответил Костя, направляясь к двери.

— А такое дело, — властно продолжал Алтынов, взявший на себя, как и во многих других случаях, инициативу расследования кражи. — Мы все сейчас проведем у себя обыск. Понял? Чтобы не было у Колосова подозрения, что кто-то из нас украл деньги. С тебя первого и начнем, раз ты торопишься. Ребята! — крикнул он, обращаясь ко всем. — Пока не отыщем деньги, из школы никому не уходить. Кто уйдет, будет считаться вором.

Воспитанные в трудовых семьях, все мы с презрением относились к ворам, относя их в разряд паразитов и тунеядцев. И в этом нашем отношении к ворам не было и малейшего либерализма. Вор достоин только осуждения — и все. И нас не интересовали социальные причины воровства: иди и работай. Кусок хлеба, кров можно дать убогому нищему, ребенку — в те годы таких бедолаг немало слонялось по дорогам России, но вор — враг! Вор — он тот же буржуй, капиталист, кулак, вор норовит жить за счет

труда ближнего своего, и нет ему пощады!

Вот с таким настроением шел в нашей комнате обыск. И когда были дотошно перетрушены все вещички последнего обитателя комнаты, все с облегчением вздохнули, слышались шутки. Как это тяжело — подозревать товарища в нечестности, нести это подозрение в себе. Но Алтынов продолжал поиски злополучной коробки, понукая ребят: “Везде ищите, ребята, во всех закоулках. Всю школу перевернем, но деньги отыщем”. Искали в соседних комнатах, в туалете, проверили многочисленные дверные тамбуры, где обычно скапливался бумажный хлам, поломанная мебель. Вяло, но принимал участие в поисках и Костя Кют. Больше мешал другим, чем искал. Алтынов ухватился за ручку очередного тамбура, стоявший рядом Костя услужливо кинулся помогать, но Алтынов со злостью рванул дверь, открыл ее один, пребольно стукнув при этом по лбу незадачливого своего помощника. На глазах Кости навернулись слезы, на бледном лбу забагровела шишка.

— Ты прости, брат, нечаянно я, — пробормотал сконфуженный Алтынов. Так, для порядка, взглянул он за дверь и вдруг радостно заорал:

— Братцы, здесь банка! — он показывал всем жестяную банку, высоко

подняв ее над головой. — Вор подбросил ее сюда через выбитую филенку. Держи, Игнат, считай!

Я раскрыл банку, вынул деньги, насчитал двадцать восемь рублей.

Весь тот день только и было разговору о похищении денег. Вора сурово осуждали. Марии Андреевне Маловой мы сказали, что подозреваем в краже Костю Кюта. И тот признался директрисе в воровстве. Мария Андреевна пришла к нам в комнату вечером, скорбно посмотрела на всех черными глазами и сказала:

— Кют будет жить на частной квартире. Он крепко пережил. Обещал никогда в жизни больше не допускать такого позорного поступка. Алтынов передал мне вашу просьбу убрать из комнаты Кюта. Ваше решение справедливо. Суд товарищей — самый тяжкий и справедливый суд. Но не станем мелочно казнить его. Поверим его обещанию исправиться, поможем ему исправиться.

Ребята были сдержанны в отношениях своих с Кютом. Никто с ним не дружил, не разговаривал без особой нужды. В дружной, озорной, спорящей и ссорящейся, и тотчас забывающей о ссоре ораве Кют оставался в одиночестве. И ему, наверно, было страшно трудно. К такому выводу я пришел много лет спустя. Юность всегда бывает бескомпромиссна

и жестока. И жестокость эта, нравственный максимализм интуитивны в самой молодости как фактор самоочищения. Законы его просты и действенны, как все правдивое в жизни.

Нет, бывает же так в жизни! Повалит счастье человеку, повезет ему в одном, в другом! Такая полоса везения и счастья выпала мне в те памятные предоктябрьские дни. И самое главное, на всю жизнь запомнившееся: меня приняли кандидатом в члены комсомола. В том году так было положено по уставу — проходить кандидатский стаж. Рекомендацию мне дала сама директор школы Мария Андреевна Малова. Сохранились в памяти все малейшие подробности этого события, обстановка. В светлой шестигранной комнате стоял большой, тоже шестигранный, стол, за которым свободно умещались несколько десятков человек. Стол сконструировал Игорь Васильевич, а мы сделали его в своей мастерской. При надобности стол можно было быстро перенести в другое помещение, предварительно разобрав его на части. Сейчас за столом сидели комсомольцы школы. Секретарь ячейки Шемякин зачитывал мое заявление, рекомендацию Маловой. И от себя сказал, что Игнат Колосов вполне достоин стать кандидатом в члены ВЛКСМ, а потом и членом комсомола. Зябко кутаясь в шерстяной платок,

Мария Андреевна внимательно смотрела на меня, словно снова и снова старалась уяснить, а не ошиблась ли она, дав этому нескладному, не первому ученику рекомендацию. А у меня бешено колотилось сердце. А вдруг откажут? Я боялся поднять глаза на товарищей, когда секретарь предложил голосовать за мою кандидатуру. Но все как один подняли руку. Это было великое счастье. Мне верят! Несмотря на все мои недостатки, а их у меня не мало, — я-то о том лучше знаю, — меня приняли в кандидаты. Ребята поздравили меня, поздравила и Малова, сказав про-чувственно:

— Быть комсомольцем — значит бороться за дело Ленина. Помни об этом.

— Я буду помнить, — пообещал я срывающимся от волнения голосом.

В канун октябрьского праздника Игорь Васильевич привез мне долгожданный костюм - юнгштурмовку. В школе лишь пятеро обладали таким костюмом. И потому, когда я пришел со свертком в комнату, ребята обступили меня и принялись обстоятельно изучать качество костюма. Все щупали материю гимнастерки и брюк, рассматривали ее на свет, с пугающей меня настойчивостью пытались испробовать на разрыв. Из рук в руки переходили фуражка с кимовским значком, широкий кожаный ремень, пор-

тупея. Ремень сам по себе — хорошая штука, но ремень имеется у каждого парнишки. А портупея... Портупея сразу придает человеку значительный вид, приобщает его к воинской дисциплине. В нашем понимании человек, надевший портупею, становится равным военному.

К тому времени подросли от матери сапоги, и я был полностью экипирован. Ребята настояли, чтобы я примерил новый костюм. Они ахали, не скрывая своего восхищения и радовались моей обновке, как своей собственной. Потащили к Игорю Васильевичу, он покупал, пусть посмотрит. Учитель тоже одобрил мой костюм и посоветовал в нем и играть в спектакле, поскольку я играю роль комсомольца.

Вся школа готовилась к октябрьскому празднику. Не было ленивых. Мы помогали оформлять сельскохозяйственную выставку. Под нее отвели нижний, самый большой во дворце синий зал, в котором бывший владелец закатывал балы. На специальном стенде мы выставили продукцию хозяйства своей школы. Для чего отобрали лучший картофель, пудовые тыквы, турнепс, морковь, зерновые. В диаграммах была отражена агрономическая учеба. И, надо сказать, возле нашей экспозиции толпились люди, съехавшиеся со всего района. Каждому хотелось узнать, а как будет вестись хозяйство по научному,

к чему их так страстно призывают...

И, конечно же, вышла к такому торжественному дню школьная стенгазета “За учебу”, редактором которой я стал недавно. В этом номере, занявшем два листа ватманской бумаги, были помещены и мои стихи. Целую ночь накануне писал я эти стихи, забравшись в шестигранную комнату. Мне самому нравились стихи, повторяя строчки, я рос в собственном сознании. Я присматривался со стороны: читают ли мои стихи?.. Читали. Даже вслух читали иногда, чтобы слышно было другим, стоящим у стенгазеты. Как-то я заметил у стенгазеты Зину Марянину. Не утерпел, спросил как можно небрежнее:

— Как мои вирши?

— Ой, Игнат! Мне нравятся, честное слово! — искренне вырвалось у всегда сдержанной Зины. Она пристально посмотрела на меня своими неправдоподобными синими глазами и сказала: — Ты это все... сам? И складно так...

— Сам, конечно, — чуть обидевшись, отозвался я. — Хочешь, я тебе сейчас сочиню стихи. Дай тему!

— Да я верю, чудак, — рассмеялась Зина. — Тему я тебе дам—потом, не сейчас. Я побегу, в столовке сегодня дежурю.

Я глядел вслед девушке и думал: что в ней такое, что так привлекает меня? А стихи я напишу и посвящу их Зине, как

это делали настоящие поэты. А что? Ведь и признанные тоже когда-то начинали, и были у них слабые стихи поначалу. Думая так, я, по молодости лет, не испытывал еще того отрезвляющего чувства собственного несовершенства, комплекса посредственности, которое рождается годами опыта и ошибок.

Зрительный зал набит до отказа. Люди тесно сидели на деревянных скамьях стояли в проходах, у стен, сидели прямо на полу возле сцены. Из-за занавеса к нам на сцену доносился приглушенный рокот сотен голосов. Иногда этот ровный рокот прерывался визгливым криком ребяташек, переключавшихся между собой как в лесу. От предчувствия встречи с этим залом с его пока снисходительным гулом, мурашки бежали по спине и становилось холоднее обычного в этом не отапливаемом помещении. В зале воздух люди нагрели своим дыханием, на сцене же пар шел изо ртов артистов, торопливо заканчивающих последние приготовления к выходу. Игорь Васильевич с черной бородой, делавшей его неузнаваемым, осматривал каждого, поправляя грим, парики, давал наставления. И вот звенит третий звонок, занавес плавно расходится, и перед зрителями предстает декорация деревенской избы. За столом сидят бородатые мужики. Игорь Васильевич играет

роль хозяина хаты. Он угощает дружков самогоном и, стуча по столешнице, кричит: "Не позволю Митрошке (это секретарю комячейки) сбивать парней и девок супротив родителей, супротив веры. Пора уже ему укорот делать!" "Пора!" — согласно вторят собеседники, заправляясь самогоном...

Мы с Зиной стоим за кулисами. Здесь полумрак и холод, пахнет паутиной и мышами. Мы стоим, с волнением прислушиваясь к ходу действия, только бы в попад все получилось. Мы шепотом повторяем краткий свой текст. Зина зябко проводит плечами. В ситцевом платице пробирает холод. Мне в юнгштурмовке теплее, и потому я чувствую себя неловко. Замечаю оставленный Игорем Васильевичем пиджак, набрасываю его на плечи партнерши, она благодарно кивает головой.

— Колосов, Марянина... — слышим мы рассерженный шепот Гаврилова. — Ваш выход, черти! Да пиджак оставь, куда в пиджаке!

Смущенные, с замирающими сердцами выходим на сцену, с трудом передвигая непослушные ноги. Нас встречает с широкой улыбкой секретарь ячейки Митрофан Шемякин.

— Узнаю влюбленных, кроет совсем не по тексту Шемякин. — Ишь как растерялись, когда меня увидели. Я вас давно

заприметил...

Из зала слышался одобрительный гул, и нам стало сразу легче, мы осмелели, задвигались, как учил нас на репетициях Игорь Васильевич. И когда Шемякин задавал нам вопрос “любим ли мы друг друга”, мы довольно внятно произносили “да”. Мы покидали сцену, сопровождаемые аплодисментами и криками зрителей, близко принимавших все перипетии драмы:

— Не старый режим!

— Такие вот родители детям своим жизнь заедают!

— Вам только волю дай...— гудит густой голос с конца зала.

— А ты хочешь без воли чтоб?..

А какое негодование демонстрирует зал, когда в конце спектакля хозяин избы и отец Стеши подкарауливает секретаря ячейки и убивает его из обреза. Зрители отпускали в адрес убийцы крепкие выражения, стучали ногами. Некоторые, забывшись, громко требовали арестовать стрелявшего...

Мы стояли на сцене со счастливыми лицами, прислушиваясь к аплодисментам. Игорь Васильевич несколько раз брал нас за руки и выводил к зрителям на авансцену. Нам не подавали цветов в прозрачных целофановых кулках, как будут делать через много лет. Цветы нам

заменяла сердечная искренность зрителя, с какою он воспринял наше скромное искусство.

После спектакля я затаенно подумывал: может, игра в любовь будет иметь продолжение? Но нет, Зина ничем не выказывала мне особого расположения, я же не пытался предпринимать что-нибудь, чтобы прояснить этот волнующий меня вопрос. Да и никто больше не спрашивал нас, в шутку ли всерьез: любите ли вы друг друга? О моих мыслях вряд ли догадывалась Зина.

Только раз эту тему неожиданно затронул Алтынов. Мы оставались с ним вдвоем в нашей спальне. Я читал, Алтынов лежал на скамье и глядел на меня светлыми задумчивыми глазами.

— Игнат, тебе...ну...нравится Зина Марянина? — с запинкой спросил он.

— С чего ты взял... — вспыхнул я, словно уличенный в чем-то предосудительном.

— Я так. Тебе, конечно, рано, сопляк ты еще, — лениво проговорил Алтынов.

— Взрослый нашелся! — обиделся я.

— Я старше тебя на год. Учти. Ты не обижайся. Я тебе хочу сказать одну вещь... — Алтынов поднялся, сел на скамью. — Ты только — никому! Я, кажется, люблю эту девчонку, понимаешь? Ну вроде болезнь это...И во сне вижу. Чертовщина какая-то!

В голосе Алтынова боль и недоумение, и уязвленная гордость. Наверно допекло его, что решил мне открыться, переложить часть боли на собеседника. А меня бросило в жар: он любит Зину!

— А она?.. — хрипло спросил я,

— Что она? — в голосе Алтынова растерянность. — Ах, ты о ней, о Кате. Не знаю, брат.

Алтынов долго смотрел мне в глаза, словно пытаюсь проникнуть мне под черепную коробку, потом сказал, вынимая из кармана гимнастерки помятую бумажку, сложенную вчетверо:

— Передай записку Бочаровой.

— Сам не можешь?

— Не могу, брат, — просто, не рисуясь, ответил Алтынов, и я сжалился над ним.

От Кати Бочаровой я вернулся быстро. Алтынов напряженно ждал, что я скажу.

— “Ответа не будет”, — передал я слова Бочаровой. Алтынов побледнел. Видимо, он был глубоко оскорблен. Он промолчал.

Я был удивлен исповедью товарища и обрадован: не Зина! Стало быть, не один я подвержен странным влияниям чувства, которое называют любовью, вкладывая в слово это самый разнообразный смысл. Бочарова была красива спокойной

русской красотой: большие серые глаза, брови, какие называют соболиными, косы в руку толщиной, о которых наш секретарь ячейки сказал: “Если бы три года назад, отрезали бы твой пережиток, — тронул косы, — по решению ячейки. Сейчас ничего, носи”. “А галстук можно? — сунулся с вопросом Степан. — Галстук можно, носи,” — подумав, ответил секретарь.





XI. ПЕСНЯ

В выходной день можно чуть-чуть понежиться в кровати. Многих сегодня нет в спальней: ушли вчера домой на побывку. Только я и Николай Гаврилов, да Миша Голов, который живет в далекой деревне на самом берегу Финского залива, остались в школе. Голов сладко спит. Николай чинит рубаху, сквозь зубы напевая непонятную песенку. “А-а-о-о” тянет Гаврилов. Он не мешает мне думать. Не мешает и тоненькое треньканье балалайки в соседней комнате. С первого дня житья моего в школе здешний быт наш сопровождает скромное звучание этого незамысловатого инструмента. Я крепко привык к этому звучанию. В каждой

спальне были балалайка, а то и гитара, и мандолина. Все мы старались научиться играть на каком-нибудь из этих инструментов. Худо-бедно брэнчал на балалайке и я. Подбирал мотивчики на гитаре и мандолине, но без особого успеха. Я слушаю треньканье за стеной и подставляю к мелодии слова: “В той степи глухой замерзал ямщик...” — играл невидимый музыкант. Я закрываю глаза и представляю себе заснеженную степь, метель, понурые силуэты лошадей, а в санях-кошевке лежит в тулупе ямщик. Крепок мороз, не спасет ямщика тулуп...

Мы, воспитанники школы, любили музыку, но больше всего музыку в песне. Мы ценили в песне в первую очередь содержание. Мелодия помогала нам понять смысл, идею, заложенную в песню. Многие песни, услышанные в раннем детстве, я запомнил на всю жизнь. В русских народных песнях передавались народные традиции, исторические события, песни учили добру и вызывали желание бороться со злом на земле. Песни прививали основы нравственности и культуры, патриотизма. Лет шести я услышал поразившую меня своим драматизмом песню о Московском пожаре. Запомнил и обстановку, в какой пелась песня. В соседском доме полумрак в комнате, ярко пылают дрова в голландской

печи. Я сижу со сверстниками у печи, зачарованно гляжу на огонь я слушаю как тихонько поет девочка, чуть постарше меня:

“Шумел, горел пожар московский...” Я старался понять слова песни, и мне помогала сидевшая у огня соседская бабушка. Отставив вязание чулка, она говорила: “он, Наполеон-то, царь французский, хотел завоевать Россию. Всыпали ему, еле ноги унес. Он думал, что ему ключ с поклоном принесут русские от своей столицы, не пришли! Битый, еле сам ноги унес. Потом уж так и пропал Наполеон. А Москву мы сами жгли, чтобы врага выкурить”. Не все мне было понятно в песне и в комментариях соседской бабушки, но я понял главное: никто и никогда не победит русский народ.

А какими вдохновляющими были песни революции и гражданской войны, песни двадцатых годов! С восторгом и воодушевлением открывали мы песенные страницы истории молодого советского государства. И память выстраивала песни в один непрерывный согласованный ряд, в могучую симфонию революции. Мы подпевали бывшим политкаторжанам, тогда нередко молодым еще людям, знаменитую “Динь-бом, динь-бом, слышен звон кандалный...” и не менее известную песню—реквием “Замучен

тяжелой неволей...” Мы пели вместе с участниками революции и гражданской войны: “Смело мы в бой пойдем за власть Советов...” Все эти песни были нашими первыми уроками политграмоты. А как радостно было на душе, когда в дни празднеств, да просто досуга, окружавшие тебя люди пели: “Мы кузнецы, куем мы счастья ключи...” или задорную, очень популярную в народе песню “Проводы”. Каждый раз люди соглашались с героем песни Иваном, упрекающим недально-видную родню: “Если б были все как вы, ротозей, чтоб осталось от Москвы, от Расеи...”

Мы любили народную песню, трепетным заветным словом и музыкой своей привносящую в юные души наши все то чистое и возвышенное, без чего нет настоящего человека, гражданина.

Из песни слова не выкинешь, но так и любую песню не выкинешь из жизни. Вот и сейчас, оставив мелодию про замерзающего ямщика, невидимый балалаечник выводит незамысловатый мотив полублатной песенки беспризорников “Во саду при долине громко пел соловей...” Мне, побывавшему на положении беспризорника, понятна печать этой песенки, слегка затаенная дерзость, упрек людям, равнодушно взирающим на горести “мальчика на чужбине”. Мы с

удовольствием пели эту песню, на которую с осуждением посматривала официальная критика, начавшая занимать охранительные позиции. Повсеместно пели отвергаемые той же критикой “Кирпичики”. О непризнании-то я с удивлением узнал через много лет. Ну что плохого было в “Кирпичиках”, слова которой написаны бывшей работницей кирпичного заводика, которых множество вокруг Ленинграда.

Я наблюдаю за Гавриловым. Он перекусывает нитку, рассматривает на свет свою работу. Он, видимо, удовлетворен, весело похмыкивает, говорит:

— Ты спишь, Игнат?

Я не сплю. Я давно наблюдаю за тобой, товарищ ты мой, Колька Гаврилов.

— Тогда подымайся, айда шамать, а то в столовке одна вода останется, — командует Гаврилов, убирая рубаху в сундучок. — Да, вчера я Павла Ивановича видел. Завтра в шесть — репетиция.

Известие приятно мне. Я люблю эти музыкальные репетиции. Осенью Гаврилов привел меня в музыкальный кружок и представил Павлу Ивановичу как балалаечника. Тот попросил меня что-нибудь сыграть, выслушал без особого энтузиазма и сказал: “Будешь играть на баше. Согласен?” Еще бы я не был согласен! С того дня я стал играть в школьном оркестре народных инструментов.

Павел Иванович был любопыт-

нейшим человеком. Он появился в Гостилицах года три назад с женой, поселился во флигеле рядом с дворцом в крохотной квартирке. В доме этом жила когда-то прислуга владельца имения, а теперь тут хозяева — рабочие совхоза. По скупым непроверенным сведениям, Павел Иванович был ведущим музыкантом в оркестре Мариинского театра. А очутился он в Гостилицах по причине пристрастия к спиртному. “Пьющих в театре не жалуют”, — говорили сведущие люди. Невысок, щупл, с впалой грудью, таких в народе называли плюгавыми. Но к Павлу Ивановичу это презрительное определение не прилеплялось. В каждой жилке этого тощего человека чувствовался артистизм, даже поношенная его одежда сидела на нем артистически изящно. Павел Иванович был полон чувства собственного достоинства, он сразу поставил себя так, что о нем быстро перестали говорить нелестное. Он играл решительно на всех музыкальных инструментах, кои отыскивались в Гостилицах. И кто слушал его игру, только и произносили восхищенно: “О-о!” И еще большим авторитетом Павел Иванович стал пользоваться, когда узнали, что он сам, своими почти детскими ручками, может изготовить любой струнный инструмент. Специально ходили к начальнику почты, бухгалтеру

совхоза, чтобы посмотреть сделанные Павлом Ивановичем гитары. Инструменты, "по заверениям знатоков, были лучше фабричных, разве только колки были деревянными, металлических в те времена Павел Иванович нигде не мог достать. Их просто тогда не делали.

Однажды Павел Иванович пришел к Маловой и предложил ей создать при школе оркестр народных инструментов. Хорошо бы, но где достать инструменты?" — вздыхала Мария Андреевна. Но Павел Иванович успокоил ее. Он взялся достать кое-что в Ленинграде у своих бывших коллег, а кое-что обещал сделать сам. Так он стал нашим учителем музыки.

Павел Иванович преображался, когда дирижировал оркестром. Он казался и ростом выше, и лицо у него становилось строго-торжественным, немного отрешенным, и жесты повелительными. В особо торжественных случаях Павел Иванович приходил во фраке, белом жилете, с черным галстуком-бантом и обязательно со скрипкой. Он дирижировал нам смычком, то и дело принимаясь играть сам. И мы, музыканты, были страшно довольны, что наш Павел Иванович вызывает восторг у зрителей. "Артист, одним словом", — говорили в зале с уважением, какое всегда испытывает народ к талантам, а потому и прощает ему "буржуазный" фрак, и пикейный жилет, и диковинный галстук, и напуд-

ренный носик, и напomaженную голову...

С нами, музыкантами, Павел Иванович был на короткой ноге. Он часто говорил:

— Любите музыку, ребята. Вся жизнь человека, если хорошенько разобраться, — это музыка, симфония. Вы когда-нибудь поймете это...

Мне иногда казалось, что я уже понял смысл откровений Павла Ивановича. Я переживал тот сложный этап жизни, который называется переходным от отрочества к юности. И в это самое время я прикоснулся к настоящей классической музыке, о которой не раз говорил Павел Иванович.

А все началось с пятилампового радиоприемника. Этот чудесный ящик, смахивающий видом своим на старомодную конторку, установили в красном уголке. А чтобы аппарат не поломали, поручили мне ухаживать за ним, заботиться о батарейках. Аппарату был придан редкостный в те времена предмет — репродуктор на ножке. Без всяких наушников можно было слушать передачи ленинградской радиостанции "РВ-53". Слушали коллективно, собираясь в красный уголок в свободное время по вечерам, когда начинала работать радиостанция. Слушали все передачи подряд с одинаковым вниманием. Ну а я, пользуясь привилегией

радиста, часто сидел у приемника один, особенно когда шли музыкальные передачи. Я был буквально потрясен, когда однажды прослушал в течение трех вечеров сразу оперу “Евгений Онегин”. Такое же неотразимое впечатление произвели на меня оперы “Пиковая дама”, “Кармен”, “Князь Игорь”. Мелодии этих шедевров полонили меня, они звучали в моей голове. Иногда я ловил себя на мысли, что мне кажутся неестественными речи окружающих меня людей, очень обыденные их речи. Почему бы не говорить нараспев, как в опере. Иногда мне казалось, что музыка, звучащая внутри меня, это мое творчество. Пишу же я стихи, а почему бы мне не сочинить мелодию? Музыкальные наваждения стали случаться у меня в самые неподходящие моменты. Летом, работая в совхозе вместе с Гавриловым, я иногда сердил его своей рассеянностью и бестолковостью. Как-то он стоял на возу, а я подавал ему сено. В то утро все во мне пело, звучала музыка, словно играл оркестр вон за теми кустами. Я воткнул вилы в сено и задумался, вслушиваясь в рождающуюся во мне мелодию.

— Игнат, ты заснул? — крикнул Гаврилов.

— Я слушаю...-- отозвался я.

— Чего? — оглянулся он с удивлением вокруг.

— Во мне...понимаешь— музыка...—

бормотал я сконфуженно, догадываясь, что выгляжу в глазах товарища довольно странно.

— Ты что? Может голову напекло? — озабоченно заговорил Гаврилов, прыгивая с воза на землю.

— Нет же, я здоров, Колька. Во мне, понимаешь... Ну, звучит музыка, — приложил я ладонь ко лбу, потом к груди.

Гаврилов, Гаврилов, музыкальная душа! Он понял мое душевное состояние. Он сел на копну рядом со мной, глядел искоса светлыми умными глазами, покусывая травинку. Улыбнулся несколько смущенно, проговорил:

— Знаешь, а у меня тоже так бывает. Ну целый оркестр играет в башке. Попробуешь потом на рояле мелодию повторить, забыл!

— А композиторы как же? У них память хорошая?

— Память есть, конечно, но они ноты знают, записывают мелодию, — пояснил Гаврилов и, вздохнув, добавил: — Не успел я выучить ноты. Та воспитательница, которая меня в детском доме на рояле учила, на слух, ноты мне стала показывать, да вот перевели меня сюда учиться. Но я все равно выучу. Вот закончу школу, потом на курсы музыкальные поступлю. Есть такие курсы при клубах. В Ленинграде. Я слышал.

Гаврилов полез на воз, оттуда уже, продолжая разговор, предложил:

— Пойдем сегодня в киношку. Меня

заведующий кино играть на пианино подрядил. Три рубля за вечер, два сеанса. Пошли, вдвоем веселей. Картину посмотришь. Сегодня “Закройщик из Торжка” идет. С Игорем Ильинским. Мировая картина!

— А что ты будешь играть?

— Что придется. Больше импровизировать буду, — не устоял, порисовался Гаврилов мудреным словом.

Нынешней весной к Маловой пришел юркий, с хитрющими глазами человек в клетчатой кепке, клетчатом пиджаке, таких же клетчатых штанах. Он предъявил Марии Андреевне какие-то бумаги из райисполкома, в которых ей предписывалось сдать в аренду один из нижних залов дворца под кинотеатр. Условия были выгодны и школе, и Мария Андреевна без лишних оговорок дала согласие. Клетчатый человек оказался киномехаником, мастером на все руки, талантливым администратором. Благодаря стараниям клетчатого пришельца запущенный и загаженный зал был покрашен, поштукатурен, вместо простых скамей здесь появились деревянные диваны. На сцене повесили экран, на улице пристроили кинопудку, обшитую жостью. У входа в зал, на стене школы, стали появляться красочные афиши. Ах, какие интересные фильмы шли в новом театре! Их названия звучали набатно:

“Тарас Трясило”, “Красные дьяволята”, “Поэт и царь”, “Дворец и крепость”, “Броненосец “Потемкин”, “В тылу у белых...” Зал кинотеатра почти всегда был полон, и дела у клетчатого процветали. Выполняя всякие хозяйственные поручения клетчатого, мы, ученики, часто смотрели фильмы по контрамаркам.

На сеанс мы немного опоздали и, сопровождаемые сердитым шепотом киномеханика, в темноте пробирались на сцену, наступая на ноги зрителям. За сценой стояло старенькое пианино с медными подсвечниками, пожелтевшими от старости белыми клавишами. Гаврилов присел к инструменту, я пристроился на свободный табурет рядом. Послышался стрекот киноаппарата, на экране (в обратном порядке) побежали титры. Началась демонстрация кинокомедии “Закройщик из Торжка”. Гаврилов ударил по клавишам. Даже мой непросвещенный слух улавливал в дребезжащих звуках пианино-ветерана неверные ноты. Но музыка звучала довольно бравурно. Посматривая на экран, Гаврилов и в самом деле импровизировал, и, по-моему, чем дальше, тем удачнее, следуя фабуле картины. В подходящих местах он играл то полечку, то краковяк, то вальс, а то и “барыню” выдавал с озорными вариациями. А зал ликовал, зал смеялся, дружно и громко читал титры, комментировал действие. И когда промелькнули последние кадры и в зале вспыхнул свет, Гаврилов еще раз пробежал

пальцами по клавишам, встал с табурета, разминая затекшие ноги.

— Ну как? — в голосе товарища ожидание моей похвалы. И я не поспешил. Я не кривил душой, мне понравилась игра товарища, его импровизация. Хвалил Гаврилова и киномеханик, прибежавший за экран к нам.

— Коля, милый, ты — талант, гений ты! — восклицал он, услужливо угощая Гаврилова папиросами “Сафо”. — Зрители в восторге! Коля, оставайся-ка после школы у меня. Ты будешь играть, я — картины крутить, заживем, а?

— Мне профессия нужна, не только заработок, — рассудительно говорил Гаврилов в ответ.

— А тапер разве не профессия? — напирал киномеханик.

— Не профессия. Я даже нот не знаю. Мне нужна основательная мужская профессия, чтобы и себе и людям польза была. А бренчать всю жизнь — это не по мне.

Я горячо поддержал Гаврилова. Я тоже мечтал о мужской профессии. Какой она будет, я еще не знал, но работа моя будет связана с физическим трудом, трудом, очень нужным людям.

Ну а пока Гаврилов играл на вечерних сеансах два раза в неделю. Нередко я сопровождал его. На афишах киномеханик стал приписывать от руки:

“Сегодня у рояля Николай Гаврилов”. Знал хитрый киномеханик чем удержать строптивного Гаврилова, не раз пытавшегося разорвать деловые с ним отношения.

Наш от секретрешки Шемякин, живой как ртуть, увлекающийся, всегда был окружен ребятами, всегда был в хлопотах. Встретив как-то меня, затормошил, засыпал вопросами и упреками:

— Ты — кандидат комсомола? Факт! А где твоя активность? — допытывался Шемякин, ероша смоляной роскошный свой чуб. Веселое лицо его, полнокровное до свекольного оттенка на скулах, сияло улыбкой. — Активность — ноль процентов! Факт! И потому я даю тебе комсомольскую нагрузку. Будешь книгоношей. Твой пункт — деревня Мишелово. Все понятно? Действуй. А чтобы тебе было не скучно, бери напарника. Лучше девушку. Ходить по деревням лесом придется, чтоб не страшно, мы решили на бюро парами направлять. — Быстро пробежал глазами список в блокноте, шевеля губами, назвал: — Марянина с тобой пойдет. Согласен? Я, правда, с нею не говорил еще... — замялся Шемякин, — тогда можно... — м-м...

Но я не дал ему договорить:

— Пусть Марянина. Мне какая разница.

— Заметано! — обрадовался Шемякин. — Книги и прочее выдам завтра.

Маряниной сам и скажешь.

Марянина согласилась.

...Мы идем с нею размеренным шагом бывалых ходоков по унавоженной зимней дороге, скользя в колеях, наезженных до блеска полозьями саней, утопая в снегу, когда выходим на обочину, уступая дорогу редкой встречной повозке. У меня и у Зины Маряниной в руках узлы с книгами, журналами, плакатами. В моем узле еще золотится на солнце раструб пионерского горна. Узлы тяжелые, и мы изредка останавливаемся, чтобы переменить руку и передохнуть. От Гостилиц до Мишелова километров пять проселка. Самый трудный участок — Колокольная гора. Здесь довольно крутой подъем и спуск. Гора поросла сосняком. Гигантскими красными колоннами стоят они, делая гору еще выше и неприступнее.

Мы идем шагом искушенных ходоков. Поначалу чувствуем тупую боль в икрах ног, стараемся ее преодолеть и не замечаем, как она исчезает и шаг становится тверже. Мы идем, жадно впитывая всем существом этот прекрасный мир с его голубыми тенями на белых снежных сугробах, голубым низким небом, на фоне которого сочно зеленеют ели и сосны. Мы поднимаемся на самую гриву увала и теперь к синему, белому, голубому и зеленому, к кружевному чернолесью с невиданной щедростью выплескивается золото сосновых стволов. Не сговариваясь,

останавливаемся у подножия самой высокой и древней сосны, бросив узлы на снег. Мы глядим друг другу в глаза и чувствуем радость и неловкость. В синих глазах Зины любопытство и смущение, и тревога, и золотистые искорки затаенного смеха. А над нашими головами высоко, в самом небе задумчиво шумит могучая крона сосны, и волшебный завораживающий этот шум мы боимся нарушить нашими голосами. Я угадываю, что Зина сейчас испытывает те же чувства, что и я. Этот торжественный шум ветвей дерева говорит нам о вечности жизни и о нашем причастии к ней, к этому миру. Все кругом — частицы этого чудесного мира: голубое небо, зелень хвои, алый цвет щек Зины, сахарная белизна снега...И радостно и жалко чего-то до слез. Вещая речь древней сосны завораживает нас, а уже пощипывает морозец руки, освобожденные от варежек. Мне казалось сейчас, что все, что я теперь чувствую, было очень-очень давно со мною и с нею. Были сосны, голубое небо, снег, синие тени на нем, синие глаза девушки в густых ресницах. Нас выводит из сказочного оцепенения пушистый ком снега, свалившийся с сосны. Мы разом задираем вверх головы и видим белку на ветке. Снег осыпал плечи Зины. Мы смеемся над проделкой ловкого зверька. Я помогаю стряхнуть снег с пальто Зины и на мгно-

вание задерживаю руку на ее плечике, испытывая щемящую сердце нежность к этой девушке-подростку. И я явственно слышу голос Шемякина: "Вы любите друг друга?" Мне становится жарко; вот решусь и поцелую Марянину, будь что будет, но она, наклонившаяся было ко мне, отшатывается, моя рука безвольно соскальзывает с ее плеча.

— Застоялись, пора идти, — озабоченно произносит девушка, отводя глаза.

Нет, наверное она не догадывается, что я хотел ее поцеловать. И вообще не догадывается, что я думаю о ней, что такую глупую надежду, так неожиданно зароненную в мое сердце простой репликой из пьесы. Чтобы укрепить ее в мысли, что для меня она только товарищ, не больше, я завожу ненужную речь о наших книгоношских делах. Мы уже дважды побывали в Мишелово и убедились, что обязанности книгонош могут быть гораздо шире на деле, чем только разносить книги. Мы часто читаем вслух, чтобы заинтересовать книжкой крестьян. По их просьбе оформляем подписку на газеты и журналы. А иной попросит выписать по почте сепаратор, узнать в точности, как и где приобрести веялку. В иной избе старуха попросит написать письмо сыну, в Ленинграде ее сын, на Путиловском заводе котельщиком работает, неграмотна она, а сыну надо сообщить, посоветоваться:

вступать в колхоз или нет. И каждый раз мы приносили свежие газеты, читали их и, как могли, комментировали собравшимся в избе-читальне селянам. А в прошлый раз заведующий избой-читальней, недавно демобилизованный из армии красноармеец, еще не снявший солдатской шинели, попросил: “Вы, ребята, в следующий раз новую песню приносите. Я тут хор организовал. Девки наши хорошо поют. Хотелось бы новую песню заучить. Если узнаете про какую, запишите, мы выучим.” Просьбу наша мы выполнили. В нашей школе как раз стали петь новую песню — “Авиамарш”, сразу покоровшую наши сердца. Зина аккуратно переписала песню и сегодня передаст избачу.

Сосны раздвинулись, и мы увидели с высоты горы Мишелово, чернеющее хатами в белых снегах. Сизые дымки тянулись из труб к зимнему небу. Взявшись за руки, мы почти бегом спускаемся с увала. И словно не было философских размышлений о жизни, растаяла, отошла волшебная приобщенность к вечности, к миру сему, такому желанному и такому еще не понятому, неосознанному, как и внутренняя сущность нас самих.

В избе-читальне жарко натоплено. Люди плотно сидят вокруг длинного стола на козлах. На столе газеты, журналы “Лапоть”, “Безбожник”, “Огонек”. Возле

меня сидит председатель колхоза деревни, молодой мужчина с русой бородкой, курчавыми волосами на голове. Такие лица называют благообразными. Он степенен, немногословен. Чувствуется в этом крестьянине этакая врожденная цепкая хозяйственная обстоятельность, с какою он относится ко всему в жизни. Председатель уважительно говорит мне:

— Ты бы нам про последние новости рассказал. Какие у нас в стране дела на сегодняшний день?

Я читаю сообщения из газет, как умею растолковываю их, пополняю сведениями, полученными ранее. Я говорю о новостях на стройках Челябинского и Харьковского тракторного заводов, на Днепрострое. Сообщаю также, что в Москве состоялось всесоюзное совещание по организации труда в колхозах.

— Вовремя, — одобрил председатель. — Если не навести тут порядок, то разорим артели...

— И то — разорим, — соглашаются слушатели.

— Там, на совещании, про трудодень шла речь, — продолжал председатель. — Ты узнай, поспрошай в школе у учителей, как они складываются, эти трудодни. Мне объясняла дамочка одна из райисполкома, не понял ни черта.

Я обещал. После такой беседы я

уважал себя больше. С удовлетворением ощущал себя тем проводником политики партии, о которых много пишут нынче в газетах. И теперь, когда я стал кандидатом комсомола, а вернее комсомольцем, святая обязанность агитатора навсегда остается в судьбе моей.

Под вечер изба-читальня полностью в распоряжении парней и девушек. Да уж, голосистые девки мишеловские. Они пели одну песню за другой. Иногда в их звонкие голоса вливались басы и баритоны парней. В Мишелове, по всему видно, любили песню и петь умели. Избач говорил мне со счастливой улыбкой:

— Мирowo поют, верно? Их хоть сейчас вези в Ленинград на всесоюзный показ. Голоса! — избач крутил от удовольствия лохматой головой. Потом, вострепёнувшись, осведомился: — А песню новую принесли?

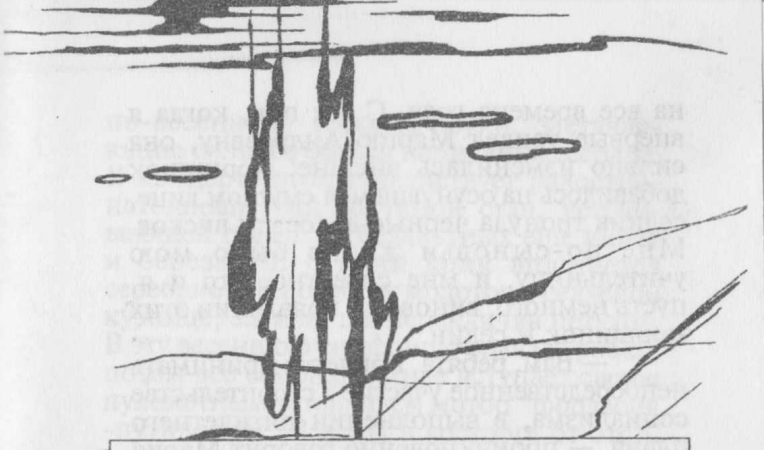
Зина подала избачу список “Авиамарша”. Избач, смешно шевеля губами, читал, и широкое его лицо все больше светлело.

— Мирowo! — закричал он, кончив читать. Потрясая листком, он скомандовал: — Девки, парни, сейчас начнем новую песню заучивать. Внимания прошу. Эй, там, курить бросьте, в читалке сидите, черти полосатые! Вот Зина станет читать, а вы повторяйте, запоминайте.

“Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...” — несколько неуверенно начала Зина. Но после первого куплета голос ее окреп. Она с чувством пропела все куплеты и припев после каждого: “Все выше, и выше, и выше...” А потом, вслед за Зиной, песню повторяли все. Не заметили, как и время прошло. За окнами светлая, тихая, как бывает в полнолуние, ночь. Я дважды напоминал избачу, что нам с Зиной пора домой, а он просил еще повторить. Новой песне тесно было в маленькой хатке читальни. Песня рвалась к небу, к звездам. Мы все будто ощущали вместо рук крылья и пламенный мотор вместо сердца. Как это здорово! Мы преодолеем пространство и время!

Участники хора во главе с избачом провожали нас до околицы. Парни вызывались в провожатые, но я решительно отклонил их услуги. Мне не впервой ходить по ночам в лесу. Тем более я сейчас не один. Шагая с девушкой рядом, я чувствую себя необыкновенно храбрым. Вот выбеги из темного таинственного леса волк, вцеплюсь в его глотку руками...





XII. СОМНЕНИЕ И ВЕРА

В нашем классе светло и празднично. В лучах солнца мечется рой пылинок, струится теплое марево возле черной поверхности жарко натопленной печи. Рассеянный слух мой с трудом улавливает смысл слов, произносимых Марией Андреевной. Она ведет урок обществоведения, рассказывает о задачах пятилетнего плана. Мне неловко, что многое из сказанного учительницей не удерживается в моей голове, обремененной совсем другими мыслями. Я исподволь наблюдаю за Марией Андреевной. Одета она в неизменный коричневый жакет с аккуратной штопкой на локтях, в длинную черную расклешенную юбку — обычная ее одежда

на все времена года. С тех пор, когда я впервые увидел Марию Андреевну, она сильно изменилась внешне: морщинок добавилось на осунувшемся смуглом лице, седина тронула черные волосы у висков. Мне по-сыновьи жалко было мою учительницу, и мне совестно, что и я, пусть немного, виновен в появлении этих морщинок и седины.

— Вам, ребята, придется принимать непосредственное участие в строительстве социализма, в выполнении пятилетнего плана, — проникновенно говорит Мария Андреевна. — Время бежит, и вы уже почти взрослые люди, а завтра будете взрослые...

Верно, как быстро летит время! Три месяца остались до окончания школы. Мы, сидящие здесь сегодня за черными столами, разлетимся как птицы во все концы отчей земли. Я со снисходительной улыбкой вспоминаю минуты отчаяния, когда я, пяти — и шестиклассник, с тоской думал об этом, почти неправдоподобном моменте. Сейчас я радовался предстоящему финишу, не подозревая, что всю жизнь буду стремиться к новой и новой цели, и также буду нетерпеливо подгонять время, томиться и сетовать на его медленное течение... Мария Андреевна встает из-за стола, подходит к окну и распахивает форточку. В класс врываются

по-весеннему веселые звуки, заставляющие сильнее биться наши юные сердца. В концерте этом главенствует радостно-истощенный гудай грачиной стаи, устраивающей гнезда на безлистных еще липах и березах. В птичий крик вплетается серебристый перестук молотов в сельской кузнице, заливиная переключка петухов. В эту весеннюю симфонию сначала робко, потом все самонадеяннее вступает своим пулеметным татаканьем мотор “фордзона-путиловца”. Все мы в восторге от этой, машины, все горим желанием научиться водить трактор, как водят его парни и девушки окрестных деревень — те слушали курсы трактористов.

Мария Андреевна некоторое время стоит у окна, вместе со всеми вслушиваясь в звуки улицы, потом возвращается к столу. Она окидывает нас задумчивым взглядом, говорит непривычно дрогнувшим голосом:

— Да, вы повзрослели. Скоро вы оставите школу и уйдете в большой мир, ребята. Будьте в этом мире настоящими людьми. Судьба у вас, ребята, особая, трудная. Вы — ровесники своей молодой республики. Даже чуть постарше ее. Выходит, вы будете расти и мужать вместе со своим государством. И надо быть всегда достойным называться гражданином такого государства рабочих и крестьян.

Ленин говорил, что коммунизм строить молодым. Помните об этом, сверяйте свои дела и поступки с таким высоким предназначением...

Да, мы повзрослели. Мы чувствовали ответственность за все дела в стране. А они были грандиозны, эти дела и планы, они ошеломляли, ставили в тупик и друзей, и недругов. А для нас эти планы и дела были сама жизнь.

— Скоро мы с вами расстанемся, — продолжала Мария Андреевна, глядя на нас мудрыми усталыми глазами. — Будете вспоминать меня? Сурова была, скажете? Мы дружным гулом отрицания протестуем.

— Ох, ребята, спрашивать с вас будут покрепче, жестче, без скидок. Жизнь — суровая штука и потребует от вас высокой дисциплины. А вы, признаюсь вам по секрету, еще во многих поступках — анархисты. Это от детства, это пройдет. Но нужно вам всегда, постоянно себя воспитывать, приучать к самодисциплине. Помните об этом. Человек сам себя воспитывает всю жизнь.

Такие беседы о жизни с Марией Андреевной проходили в конце учебного года не раз. Часто вечерами, уже лежа в постелях, мы затевали ожесточенный спор о назначении человека на этой земле, мы горячо обсуждали политические и экономические новости, о которых узнавали

из газет и по радио. В этих спорах авторитетным было мнение Миши Голова. Может быть потому, что он часто употреблял мудреные слова, придающие его речи весомость и значительность; “аргументы”, “экспорт”, “импорт”, “демпинг” и т.п. Я старался запомнить эти слова, понять их значение, стараясь при случае использовать их, но они недолго уживались в моем лексиконе.

В наших умах и настроениях находили отражение все явления роста нашей страны, все повороты ее трудной судьбы. Как и мы, ее юные граждане, страна шла непроторенными, неизведанными путями. Мы были частью своего народа и беззаветно верили своей партии, ее вождям, ее планам и мечтали отличиться в исполнении этих планов. В большинстве своем все смутно очень понимали суть острых разногласий, раздирающих партию, суть непрекращающихся дискуссий. Знание истины подменялось верой в прозорливость ЦК, мудрость вождя, а значит всей партии. “Партия — единственное, что мне не изменит...” — цитировали мы Маяковского...”Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия, мы говорим — партия, подразумеваем — Ленин”. Мы с детства были воспитаны на безоговорочном авторитете Ленина, авторитете заслуженном и жизнью всей подтвержденном. И это безграничное уважение

народа перешло к его преемнику Сталину, всюду и на все лады называемом верным его учеником и последовательным борцом за ленинское дело. Мы с трудом и долго привыкали к нему как к человеку, он для нас в то время был некой абстрактной личностью. Да и держал он себя внешне скромно, исподволь овладевая если не сердцем, то умами очень многих. И мы не пытались ставить под сомнение нашу веру в преемника Ленина. А всякая попытка поставить под сомнение подаваемую нам готовой истину довольно энергично пресекалась навешиванием ярлыков: “оппортунист”, “загибщик”, “подкулачник”... Эти определения, несущие в себе реальную угрозу, летали в воздухе, они заменяли тщательный и трудный анализ событий и явлений. Умудренные опытом люди, даже прошедшие царскую каторгу, такие, как отец Егора, Боровиков, были явно растеряны. И этого умного и уважаемого человека все чаще стали называть в среде сельских активистов “оппортунистом”. “Стоит на позициях Бухарина, за послабление крестьянину. Знаем какому — кулаку, конечно”. Говорили, что Бухарин против коллективизации, против ленинского плана кооперации. А разве когда не сбывались ленинские планы? Да вы что! Сбылась социалистическая революция.

Мы победили в гражданской войне, кроме “белых”, еще четырнадцать государств. Сбылись планы борьбы с тяжелой хозяйственной разрухой. Сбываются планы индустриализации. Сбудутся и планы коллективизации сельского хозяйства.

Но слепая вера наша, подкрепленная такими неопровержимыми казалось бы доказательствами, постоянно подвергалась испытанию здравым смыслом, которым, к счастью, всегда обладает народ. А народ ерничал, сочинял едкие сатиры на все, что не принимал, что отвергал, народ впадал в крамолу, видя несправедливость, видя, как черное ему подсовывают как белое, народ инстинктивно терял веру в лидеров и разумность их политики. И мы, дети этого народа, горой стояли за политику партии, в то же время разделяли и крамолу. Странно, но в нас уживались и вера, и протест. Эта двойственность потом будет нам сопутствовать всю жизнь. Не она ли спасала нас от полного рабского подчинения воле одного человека, атрофии гражданского в нас начала.

...В комнате нас трое: я, Алтынов и Голов. Алтынов строит заговорщицкую рожу, говорит:

— Частушку вчера слышал, про колхоз. Хотите? Вот:

“Шел вчера мимо колхоза,
Там колхознички сидят.
Зубы черные, большие...
Кобылятину едят.”

Голов слушает, усмехается, вмешивается в разговор:

— А я в прошлый выходной дома был. Отец рассказывал, как один наш мужик на последнем собрании выступал. Из района представитель уговаривал мужиков вступать в колхоз. “Что вы, товарищи, жить хорошо не хотите?” “Хотим”, — отвечают. “Так поддержите мероприятие, выступайте, чтоб волю общественную видно было. А мы вот сидим два часа и в молчанку играем”... Поднялся один в задних рядах, где света поменьше. Стоит, шапку мнет. Представитель подбадривает, говори, мол, чего тянешь. Тот басом как рявкнет: “Нас ждали и ждать будут!” — и сел, сам, наверно, своей речи перепугавшись.

Мы смеялись. А Голов, вздохнув, заметал:

— Оратора-то этого на днях раскулачили...

— Жалеешь? — покосился Алтынов.

— Думаю, — уклонился Голов.

А по округе шло раскулачивание. До школы глухо доносились гулы этой всенародной трагедии, названной кощунственно второй революцией. Этот гул покры-

вался громкой фразой: “Добьем кулака—эксплуататора!” Нет, в школу тоже вошла эта трагедия, зацепила своей беспощадной, железной рукой ее питомцев.

...Мартовское солнечное утро. За учительским столом агроном Иван Антонович. Он представляет агрономическую науку во всей нашей округе и успевает обучать нас агрономии, управлять школьным хозяйством с его фермой, полеводством. Иван Антонович богатырского роста еще молодой мужчина, широкоплечий, с огромными ручищами, красным обветренным лицом. Он в полувоенном костюме, в высоких сапогах на толстой подошве. В класс он входит, словно боясь сломать что-нибудь, прогнать под своими сапожищами. И на стул садится с осторожностью, ощупывая столешницу ладонями-лопатами... Меня всегда удивляло, как ему удастся перелистывать страницы классного журнала толстыми, как сосиски, пальцами.

Крестьянская основательность, знакомая нам, сельским ребятишкам, такая надежная и сильная доброта покоряли нас. Мы часто и несправедливо конфликтовали с Маловой, Зинаидой Александровной и даже с любимым всеми нами Игорем Васильевичем, а с Иваном Антоновичем — никогда! Ну просто он был неподходящ для этого. Вызовет

ученика к доске, задаст вопрос. Мнется, пыхтит ученик. “Не выучил?” — спокойно спрашивает Иван Антонович. — Садись, к следующему разу выучи”. И часто не спрашивает урок в следующий раз. А мы всегда учили предмет до умопомрачения, лишь бы не предстать перед учителем несостоятельными болтунами. Ведь мы обещали выучить? И он догадывался об этом нашем внутреннем душевном состоянии и добродушно улыбался нам. Никогда не читавший утомительно-скучных нотаций, он воспитывал нас всем своим поведением. Нам хотелось так же, как Иван Антонович, твердо ходить по земле, так же, как он, любить и знать эту землю. Нам хотелось быть такими же смелыми, как Иван Антонович. Он вступил в партию большевиков в апреле семнадцатого года. “Послушал речь Ленина у Финляндского вокзала, в тот же день в полковую организацию подал заявление...” — рассказывал Иван Антонович. Воевал на многих фронтах гражданской войны. Уже другие, знавшие Ивана Антоновича, рассказывали о геройском поступке его на Пулковских высотах во время наступления Юденича на Петроград. В мальчишеских наших рассказах он представлял таким Добрыней Никитичем, ходил в рукопашную с беляками, бил их почти голыми руками. “Руки-то у него,

посмотрите! Ого-го-го! Как долбанет...” Однажды Степан, расхрабрившись, спросил Ивана Антоновича: “Рассказывают, что вы, во время боев с Юденичем, брали беяков вот так, — Степан взял за шиворот меня и сидевшего по другую сторону Керта, — и стукнули лбами. Из беяков и дух вон!” Иван Антонович улыбнулся смущенно, совсем юношески, сказал: “Один случай такой был, верно. Стукнул лбами двух солдат. Потом они очухались, в плен сдались...”

Последние месяцы учебы мы, выпускники, больше находились с Иваном Антоновичем. Он вместе с нами занимался сортировкой и протравкой семян, мы вышагивали с ним по полям, помогая перемерять земли молодых колхозов, составлять карты многопольных севооборотов; мы перемеряли коров, определяя их вес, составляли рационы кормления. Под присмотром Ивана Антоновича мы обучали колхозных доярок определять жирность молока. Работа наша нам казалась нужной людям. И надежнее казалась нам земля под ногами, не сдунут нас случайные ветры, не понесут сухой былинкой в неизвестность. И когда мы хотели подтвердить правильность и надежность какого-либо решения, то говорили: “Так считает Иван Антонович”. Он не может поступать неправильно,

несправедливо...

Сегодня Иван Антонович был чем-то озабочен, даже взволнован. Войдя в класс, он не сел, как обычно, сразу за стол, но прошелся между рядами парт, вроде бы не замечая наших настороженных и вопрошающих взглядов. Потом вернулся к столу, уселся, положил перед собой какие-то бумаги, сказал:

— а сегодняшнего адна абабуду авестиа дляа васа курса колхозногоа счетоводства.а Ва нашема сельскома советеа ужеа пятнадцатъа колхозова создано.а Аа коллективноеа хозяй-а ствоа особенноа надоа вестиа расчетливо,а всеа учитывать.а Людейа много,а земляа тоже.а Особенноа важноа сапервыха жеаднейаввестиа точныйа учета иа оплатуа трудаа каждогоа колхозника.а Помните,а кака мыа са вамиа ходилиа наа экскурсиюа ва коммунуа “Ла-а пино?..

Мы утвердительно загудели.

— Так вот коммуна эта, как вам известно, развалилась. Потому что учет был плохой, уравниловка была в оплате труда, — разъяснял Иван Антонович. — Сколько ни трудись, получишь столько же, что и лодырь.

— А в коммуне лодыри были? — спросил Степан.

— Были, к сожалению. И в колхозе могут быть.

Иван Антонович пошел естел

бумагами на столе, сказал с торжествующей ноткой в голосе:

— А сейчас я прочту вам, ребята, одну очень важную статью. Очень важную... Называется она “Головокружение от успехов”. Написал ее генеральный секретарь ЦК партии Сталин.

Это была наша первая серьезная встреча с большой политикой. Мы старались не пропустить ни одного слова этой доходчиво написанной статьи. Мы поняли, что организаторы колхозов, в том числе и уполномоченный ораниенбаумского райкома, бывший балтийский моряк Артем, ошибались, забегали вперед, срывали недозревший плод. Таких автор статьи гневно называет “унтерами Пришибеевыми” в политике, головотяпами. Статья обещала все поправить, все сделать по справедливости, по-ленински. И хотя мы мало были искушены в политике, поняли: будут полезные перемены в деревне, обиженной и встревоженной.

Мы все были взволнованы, засыпали Ивана Антоновича вопросами. Улучив минуту, и я спросил учителя:

— А как с Кашеевыми будет... Вернут их в деревню?

Иван Антонович пристально посмотрел мне в глаза, словно от меня же и ожидал ответа на мой вопрос. Потом

сказал уверенно:

— Вернут. Обязательно вернут!

Кирюха Кашеев — тихий мальчик, круглолицый, с круглыми же птичьими глазами, словно плюшевой коротко стриженной головой, которую так и подмывало погладить. Учился Кирюха ровно, вперед не выскакивал, но и не плелся в хвосте. Он не боялся Степанова, без труда разбираясь в математических правилах. Был рукоделен, что особенно ценится в деревне, где все связаны с землей, со сложным хозяйством, требующим от человека универсальных знаний и умения все делать своими руками. Кирюха искусно изготовил из березового корня трубку, вырезал на ней лик Мефистофеля и подарил Ивану Антоновичу. И тот, хотя и не курил, всегда носил трубку при себе и при случае не забывал похвастаться мастерством своего ученика.

Иван Антонович очень уважал отца Кирюхи, известного на всю округу кузнеца Пантелея Кашеева. Утро в Гостилицах начиналось с серебряного звона его молотка. В кожаном фартуке, высокий, бородатый, веселый стоял он целыми днями у наковальни, освещаемый желтым огнем горна. Он мог все отковать для крестьянского обихода. И еще делал колеса и сани, телеги. Тоскуя о семейном очаге, я часто забегал с Кирюшкой в

приветливый дом Кашеевых, любил постоять у горна, помогая Пантелею оттянуть серп или острие топора. Любил наблюдать, как ловко и нежно забивает кузнец блестящие плоские гвозди в копыто лошади, терпеливо ждущей окончания неприятной, но нужной ей операции. Возле кузницы всегда толкались клиенты, и с каждым Пантелей мог поговорить на тему, обоих интересующую. Несмотря на занятость по кузнечному делу, Пантелей исправно и умно обрабатывал свои восемь десятин земли. Соседи дивились, что все у этого “лешего Кашеева” растет лучше, урожайнее. Кузнец выписывал газеты, агрономическую литературу. Я часто видел его оживленно толкующим с нашим Иваном Антоновичем. Пантелей ценил знания агронома и охотно пользовался его советами. Иван Антонович говорил нам:

— Культурный крестьянин Пантелей Кашеев. Вы, ребята, берите с таких пример. Деревню поднимут только любовь к земле, высокая культура земледелия и животноводства. Труд и знание, труд и знание — вот самая правильная дорога жизни...

Однажды во время урока Ивана Антоновича дверь в класс тихонько приоткрылась, в щель просунулась голова одной из пяти сестер Кирюхи Кашеева.

Лицо горестное, глаза заплаканные, манит рукой брата, не обращая ни на кого внимания. Кирюха побледнел, вскочил, вопрошающе глянул на учителя. Тот согласно кивнул ему: “Иди”. Через минуту Кирюха вернулся, подошел к Ивану Антоновичу и что-то прошептал ему на ухо. Лицо учителя сразу стало серьезным. Он сказал:

— Ребята, на этом мы сегодня закончим. К следующему разу приготовьте рацион кормления для коровы весом в четыреста пятьдесят килограммов. Договорились?

Весь класс был обеспокоен внезапным вызовом Кашеева и учителя. Они оба спешно ушли из школы в село. Делали предположения, что бы могло случиться в семье Кашеевых? Мне было жалко тихого своего товарища, я не утерпел, побежал в село, чтобы разузнать все на месте.

Еще издали я увидел у дома Кашеевых толпу односельчан. Стояли подводы, несколько человек суетливо бегали в кузницу, находившуюся на первом этаже небольшого кирпичного домика, лезли по крутой деревянной лестнице на второй жилой этаж. Тащили какие-то узлы, ящики, сундуки. Блеснули на солнце никелированные обода нового велосипеда Кирюхи. “Пожар? Переезжают

куда?” — мелькало в голове, пока я бежал по улице к дому кузнеца, стоявшего на самом конце села.

— Ишь, раскулачивают... — угрюмо ответила на мои вопросы старуха в нагольном полушубке, с клюкой в руке.

Так вот как раскулачивают... Я, как и все в школе, наслышан об этом. Но казалось, что процесс раскулачивания — что-то вроде собрания, сельского схода, где критикуют кулака, этакого пузатого, в жилете и картузе, в рубахе горошком, ненасытного эксплуататора бедняков и батраков. А тут — Пантелей Кашеев. — Вон он стоит и кожаного фартука не успел снять, стоит, опустив руки, такие сильные и умелые руки. Стоит, окруженный плачущими своими детьми. Кирюшка что-то говорит отцу, гладит его по плечу, показывает на Ивана Антоновича. Нет, этого не может быть! Не кулак вовсе кузнец Пантелей Кашеев, не верю я в это. Но почему здесь уполномоченный райкома матрос Артем Сухов? Он в старом бушлате, брюках, тельняшка выглядывает на груди треугольничком. Только вместо бескозырки шапка-ушанка из бараньего меха. Сухов резким командирским голосом отдает приказания понятым, таскающим вещи из дома кузнеца. “Экспроприация...” — слышалось в толпе знакомое нам, детям революции,

слово. Я подошел ближе и стал свидетелем резкого разговора между Иваном Антоновичем и матросом. Учитель, сдерживая негодование, говорит:

— Еще раз повторяю, товарищ Сухов, — это недоразумение. Не кулак кузнец Кашеев. Тут ошибка!

— Это нам лучше знать — кулак или не кулак. Ошибка! Не лезь ты куда не просят, — отрезал Сухов.

— Кому это — нам?!

— Мне! И вот односельчанам, — указал взбешенный Сухов на стоявших рядом председателя и секретаря сельского совета. Те стыдливо опустили глаза. А Сухов распалялся:

— Не кулак?! Вон какие буржуйские вещи накопил, гад, посмотри-ка! Фисгармония! Это надо же! Людям жрать нечего, — он фисгармонию покупает, контра!

— У меня дома пианино есть, — парировал Иван Антонович. — Выходит, и меня надо раскулачивать?

— Ты кто? Ты — гнилая интеллигенция, вот кто ты. Попутчик ты, рубил воздух рукой Сухов. — Тебя мы, возможно, еще перевоспитаем. А этого гада, — указал матрос на Кашеева, — ликвидировать надо как класс. Точка. Ты, агроном, уйди-ка отсюда по-хорошему, не мешай классовому акту. А то живо попадешь куда

надо...

— Я коммунист, ты мне не угрожай,
— сказал Иван Антонович, сжимая кулаки. У меня сердце упало: еще ударит Сухова.

— Надо еще посмотреть, какой ты есть коммунист, — не унимался уполномоченный, повышая голос, явно рассчитывая на участие в разговоре всех здесь присутствующих.

— Не тебе смотреть! — отрезал учитель.

— На генеральную замахиваешься!
— продолжал шуметь уполномоченный. — Смотри, не зарывайся. Вместе с кулаком в Соловки отправишься!..

А из дома кузнеца продолжали выносить вещи. На третью уже подводу грузили старинный комод, венские стулья, швейную машинку. Неловко несли зеркало-трюмо, уронили, со звоном разлетелись по земле сверкающие осколки, отражая небо. Женщины суеверно ахнули: “Не к добру разбитое зеркало!..” Заплакала еще громче жена Кашеева. К грядке привязывали корову, телку и гнедую кобылу. В отдельной повозке лежали связанные овцы.

— Не дам, не дам! Отдайте! — резанул истерический крик Кирюшки. Он вцепился в рукав полушубка понятого, укладывавшего на верх вoза велосипед.

Летом отец Кирюшки привез из Ленинграда сыну этот велосипед, купленный на барахолке. Редкостная по тем временам машина покорила всех нас, мальчишек, своим великолепием. Мы наперебой просили у доброго Кирюшки прокатиться или хотя бы чуть посидеть просто на пахнущем кожей мягком седле. Мы знали, что машина куплена на деньги, заработанные Кирюшкой в совхозе летом на сенокосе. Понятой держал сейчас в руках велосипед, и крутилось быстро переднее колесо с молниями— спицами, словно машина хотела вырваться из рук растерявшегося от крика мальчика понятого и умчаться подальше от этого шума.

—Мой велосипед, не дам! — кричал Кирюшка, таща машину к себе. — На мои куплена... Работал я... На мои, не дам!..

По лицам людей я понял, что этот крик отчаяния — самое тягостное во всей этой безобразной сцене раскулачивания. Понял это, наверное, и распалившийся уполномоченный. Он заорал на понятого:

— Чего рот раззявил?! Грузи! — и Кирюшке: — Там тебе с отцом и матерью велосипед не понадобится...

Велосипед лег на воз, накрыв колесом самовар. А Кирюшка все не отпускал рукав понятого, все кричал, позабыв обо всем на свете, как мне показалось. Как и все мы, стоящие здесь, еще не верили до конца в

реальность всего происходящего, словно пребывая во сне, не верил и Кирюшка. Вот кто-то скажет, что все это понарошку и отдадут велосипед отпустят всех. Если же исчезнет велосипед, то исчезнет для Кирюшки весь этот мир.

— Дяденька, отдай велосипед, отдай...Дяденька...он мой...заработал...летом, — горячечно кричал мальчик.

— Жалости в вас нет! —громко и осуждающе сказала старуха в полушубке. Тыча клюкой в уполномоченного, повторила: — Нет жалости!

— Жалости! — взвился оскорбленный уполномоченный. — Кулака жалеть? Не туда гнешь, старая. Жалость у меня есть, для народу жалость. Мировая буржуазия обложила нас вокруг. Внутри всякая контра. Вот такие кулаки. Вас, дураков, жалеют большевики. Светлую жизнь для вас завоевывают.

— Светлую? — с сомнением произнесла старуха, ничуть не испугавшись разъяренного уполномоченного. — Злом добра не вершат, матрос.

Видя, какое тягостное впечатление произвело на жителей села раскулачивание Кашеева, человека уважаемого в округе, Сухов торопился, подгонял понятых, сам забрасывал на подводы тряпье и разную рухлядь. Кашеев просил Сухова оставить младших детей и старую тетку жить в доме.

Их не угоняли в ссылку, только самого, сына Кирюшку и старшую дочь.

— Нельзя, — отказал уполномоченный.

— Где им жить? — вскричал Кашеев.
— Ведь пропадут дети малые. Зима!

— Не моя забота, пусть живут, где хотят, — не уступал Сухов.

— Останутся дома, — решительно заступился Иван Антонович. — Я за ними присмотрю, Пантелей.

Кузнец с благодарностью посмотрел на агронома, обнял его, сказав:

— Прощай, друг! Ты не очень-то за меня стой... Время такое, сам видишь... Пострадать можешь. Прощай!

Я подошел к Кирюшке и пожал его вялую руку. Он непонимающе смотрел на меня и шептал обессилено:

— Мой велосипед, мой. На свои деньги ведь... отдайте... зачем берете?..

Стуча колесами по мерзлой, чуть прикрытой снегом земле, обоз тронулся. На передней телеге сидели Кашеев с женой, старшей дочкой и сыном Кирюшкой. На второй подводе поехали родители Кашеева, пожелавшие разделить участь сына. Вслед с ревом бежали малые — четыре девочки, ковыляла полуслепая тетка их. Они, наверное, бежали бы до тех пор, пока не упали, обессилив, но понятые задержали детей и старую их

няньку. Иван Антонович успокаивал детей и старую, повел их в пустой и холодный дом (целый день двери настежь)...

— Сейчас я вам дровец принесу, натопим, — успокаивал Иван Антонович, послав меня за топором к соседям Кашеевых.

Но затопить печь мы не успели. В жилые комнаты ворвались Сухов с понятыми (взятыми из дальней деревни).

— А кто тебе разрешил тут распорядиться, — кричал Сухов, трогая карман, в котором заметно лежал наган. — А ну, давай отсюда, марш! И щенков кулацких забирай.

— Куда их! — с испугавшей меня интонацией в голосе хрипло произнес учитель.

— Куда хошь, хоть к черту на рога!

— Мы не уйдем, — твердо сказал Иван Антонович, садясь на лавку,

— Нет, уйдешь! — налился кровью уполномоченный. — Иванов! — крикнул он. Явился понятой. — Тащи лом!

Понятой вернулся с ломом. Иван Антонович оторопело смотрел на взъярившегося уполномоченного. Тот взял лом, подскочил к печи и несколькими ударами развалил зеркало печи. На пол дробно посыпались кирпичи, поднимая клубы пыли. Дети подняли крик. Один кирпич отлетел в угол и оттуда раздался истошный крик поросенка. Даже уполномоченный был

озадачен этим криком, но быстро справился, осклабил сердито зубы и пробормотал с ненавистью:

— Вот же гады! Порося утаить хотели от советской власти. Иванов! А ну тащи поросенка в сельсовет, там разберемся.

А Ивану Антоновичу сказал с угрозой:

— А ты, кулацкий жалельщик, еще вспомнишь сегодняшний случай. Тебе это так не пройдет. Не зря говорится: гнилая интеллигенция. С гнильцой ты человек. Если бы таких вот слушать, то революции бы не было и мироеды на наших шеях сидели.

— Революцию для человека делали, — отвечал устало Иван Антонович, до глубины своей доброй души расстроенный всей этой дикой сценой.

— Революция делается на крови и смерти! — утверждал с пугающей убежденностью уполномоченный. — А ты в белых перчаточках хочешь?!

Иван Антонович взял ребяташек и старуху к себе, вызвав тем недовольство и подозрение местных властей, проинформированных уполномоченным Суховым.

...И хотя для меня, как и для всех моих сверстников, матрос в тельняшке всегда был олицетворением героической

морской романтики, романтики революции, взятия Зимнего, я, слушая и наблюдая за действиями Сухова, руководившего раскулачиванием семьи Кащеева, возненавидел его. Во всех его мыслях и поступках я инстинктивно усматривал злую несправедливость, которую нельзя оправдать никакими красивыми словами. И вот сегодня, прослушав статью “Головокружение от успехов”, я радовался, что не ошибся. Мы все повскакали с мест, окружили учителя и возбужденно комментировали статью, повторяя из нее наиболее поразившие наше воображение фразы.

— Головоотяпы...Здорово он их!

— “Мы все можем. Нам все нипочем!” — точно так говорит наш Сухов, — смеется Миша Голов.

— “Нельзя дразнить крестьянина” — это точно, — замечает Алтынов.

— “Это выгодно лишь нашим заклятым врагам”, — здорово сказано!

— Выходит, Сухов — враг? — высказал кто-то предположение.

На этот вопрос никто не ответил

Статья сняла с наших юных душ тяжесть сомнения, тяжесть болезненной беды и какой-то подспудной вины. Ну конечно же, в центре не знали о всех искривлениях на местах в проведении коллективизации. Такая огромная страна,

одна шестая часть мира! Разве за всем уследишь?! Головотяпы и ломают дрова. Нет уж, партия не даст в обиду народ!

Так мы думали, так укреплялась наша вера в истинную справедливость всего, что делает ЦК, секретарь его. И только через полвека узнаем мы, что жестоко ошиблись, и как много потеряли народ наш, страна наша от этих ошибок, часто непоправимых.

Ну а тогда мы все ждали скорого возвращения в родное село семьи кузнеца Кашеева, нашего одноклассника Кирюшки. Но не дождались. Окончили школу и разлетелись по всей стране, ища свое место в жизни. Только через много-много лет, за многие тысячи километров от Гостилиц, на далеком Амуре я встретился со Степаном Малофеевым. Он сказал мне, что все Кашеевы погибли. Одни в ссылке в тот же год, младшие в блокадном Ленинграде. Иван Антонович, уходя на фронт, сдал их в детский дом.

Но это будет потом. А той весной мы ожидали Кирюху Кашеева, вспоминали его великолепный велосипед...

В мае, перед самым выпуском из школы, я однажды повстречал матроса Сухова. Он стоял в грязи у коновязи и громко переругивался с мужиками, высунувшимися из окон чайной

— Перегибщик! — кричали они. —

Кузнеца какого загубил!

— Сволочи вы! — чуть не рыдая от обиды и бессилия, отбивался Сухов. — Я за вас, сволочи непонятливые, кровь проливал, а вы!.. Эх!

— Кашеев, между прочим, на Перекопе воевал. От самого Фрунзе часы золотые имеет за храбрость, — парировали мужики.

Шатаясь на нетвердых пьяных ногах, Сухов заметил меня, поманил пальцем. Я подошел.

— Салаженек, проводи меня до дому. Свалюсь еще в грязь...

Он обхватил меня за плечи, и мы пошли прочь от чайной, сопровождаемые насмешками мужиков.

— Смеются, черти... Я для них же жизни не жалел, грех надушу брал. Эх! — тосковал матрос. — Перегибщик, голову тятп... А кто посылал? Сверху директива была. Секретарь райкома жал на меня, я на мужиков. Вышло я и виноват, что исполнял?.. Из партии исключили, позорят всюду.

Мне было жаль матроса, и зол я был на него. Но мое юное сердце ближе было к жалости и прощению. Не знал я тогда, что и Сухов, и кузнец Кашеев — жертвы того времени, известного потом как эпоха культа личности.



XIII. ПОСЛЕДНИЕ УРОКИ

Май гремел грозами, соленые балтийские ветры несли с собой запахи цветущей черемухи. Мы радовались и чуть печалились, впитывая звуки и запахи весны. Как ни юны были мы, сознавали: будут еще у нас весны, будет ликующий май, но такого, что переживаем сейчас, не повторится. Мы уже стали настолько взрослей, чтобы понимать это и ценить радостные минуты торжества бытия. Нас охватило возбуждение, беспричинное веселье, сменяемое внезапной задумчивостью, тревожащими сердце предчувствиями. Может, потому между нами возникали ссоры по пустякам. Ссоры быстро гасли, не набрав силы. Мы

переживали такое состояние духа: будто шли-шли лесом, привыкнув к его зеленому уюту, ограничивающему этот мир и упрощающему его, и вдруг — лес окончился, перед нами распахнулись бескрайние просторы, дорога, уходящая вдаль, за горизонт. Она манит и пугает нас своей неизвестностью. Куда приведет нас дорога жизни?..

Наше волнение передавалось учителям. И они молодели душой, с таким же увлечением строили планы наших судеб.

Больше других рядом с нами находился Игорь Васильевич. Это он посоветовал провести классное собрание, чтобы поговорить о нашем будущем. Он сидел за учительским столом, в голубой рубашке, трогал тонкой артистической рукой пепельный ежик волос. Он глядел на нас с мягкой и печальной улыбкой, словно видел за нашими спинами испытания и тяготы жизни, ожидающие нас.

— Скоро вы покинете школу, — говорил Игорь Васильевич. — И стране не безразлично, куда вы пойдете. Знаете, как тяжело республике сейчас, а она вас учила, тратилась на вас из своего скудного кошелька. В пятом вас было сорок, осталось двадцать шесть. Выходит, три года на вас работали педагоги, обслуживающий персонал. В вашем распоряжении был дворец, наше учебное хозяйство. За

все это вам платить стране учебой, выбором профессии, которая вам по сердцу и по силе. Вот и давайте поговорим о том, кто куда пойдет учиться дальше. Нельзя на семилетке останавливаться, ребята. Стране нужны грамотные, квалифицированные люди, хорошие работники. Идите в вузы, в техникумы. Училищ сейчас много профессиональных.

— Мы словно бакинские комиссары, — сказал Степан. — Нас двадцать шесть!

— Вот и будьте комиссарами, — подхватил Игорь Васильевич. — Как они, будьте твердыми людьми, убежденными.

Каждому не терпелось высказаться, ребята перебивали друг друга, подсмеивались, сердились. Но постепенно из этих высказываний, порой озорных, с подначкой, для кое-кого обидных, вырисовывались очертания предположительных планов выпускников. Гаврилов, Алтынов и Голов заявили, что пойдут в техникум механизации сельского хозяйства. Открылся в прошлом году такой техникум в Лигово. Девочки почти все решили пойти на ускоренные курсы наркомпроса. Страна испытывала в тот год особо острую нехватку учителей. Выразила желание стать учительницей и Зина Марянина.

Я помалкивал о своих намерениях.

А они были, и очень самонадеянные, я сам сомневался, получится ли у меня что-то путное. Я мечтал поступить в юридический институт. К этой мысли меня подтолкнул Егор Боровиков, сын директора совхоза. Боровиков пришел в наш класс осенью, когда его отец принял совхоз в Гостилицах. Егор был начитан, вежлив. Я быстро сошелся с ним, подружился. Егор высокий, нескладный такой, с болтающимися как у куклы руками, смахивал чем-то на добродушного молодого пса, всегда готового поиграть, повозиться, а тут надо быть сдержанным и ненадоедливым. Я иногда заходил к нему домой за книжкой, посмотреть, как Егор печатает фотоснимки. Мать Егора, Татьяна Васильевна, моложавая еще женщина, встречала меня приветливо, поила чаем с вареньем, расспрашивала меня о доме, о матери, интересовалась моей учебой. Она и сказала однажды, что Егор хочет идти в Ленинградский юридический институт, что она одобряет его выбор. “Быть юристом, ребята, авторитетно и нужной стране, — утверждала Татьяна Васильевна. — Наше молодое государство, рожденное революцией, строится на праве и на правде. Вот и Владимир Ильич был юристом”... “Но революция давно закончилась”, — заметил я, желая показать свою

осведомленность. “Революция не закончилась, Игнат, далеко не закончилась... — возразила Татьяна Васильевна. — Она продолжается. Только на каждом этапе революции у нее новые задачи возникают. Ну, ты это поймешь позднее, а сейчас ешь-ка лучше пироги с капустой...”

Не все я понял, что пыталась внушить мне мать Егора, но ей-то я поверил: дело говорит. А почему бы и мне не поступить в юридический институт? Да еще вместе с таким другом, как Егор Боровиков. Это же очень здорово! В юности мы так жаждем — на чье бы плечо надежное опереться...Егор поддержал мое решение, сказав: “Мы начнем готовиться, я и программу достал. В институт без экзаменов принимают, но проверка знаний будет обязательно. Если уж мы совсем олухи, только тогда не примут”..

— А ты что молчишь, Колосов? — обратился ко мне Игорь Васильевич.

— Он в Царскосельский лицей думает поступать. На поэта учиться, — ехидно заметил мой застарелый недруг Кауров.

— На поэта не учатся, поэтом рождаются, — заступился за меня Егор.

Скверная натура у меня. Чуть обратит на меня внимание большинство, я теряюсь, становлюсь неловким, себе противным, язык мой тогда косный, речь

путана и нелогична. Я заставляю себя не тушеваться, даже улыбаюсь через силу и мямлю совсем не то, о чем думаю, неизвестно почему скрытничая. И сейчас вот говорю:

— Я, пожалуй, в лесотехнический. В Луге такой техникум, — называю я первый пришедший на ум техникум. Об институте права говорить воздержался. Мне казалось, что ни Игорь Васильевич, ни ребята не одобряют настоящего моего выбора. И это неодобрение падает и на Боровикова. И по моей вине. Не годится так! И я и все в классе полагали, что в таком вузе, как юридический, должны учиться люди заслуженные, прошедшие хорошую жизненную школу, учившиеся на рабфаке. А тут юнец — в вуз права. Тоже мне... Чуткий Боровиков угадал причину моей заминки и с такой же неопределенностью заявил о своем желании учиться или на лесника, или пойти в медицинский, добавив:

— У меня отец лесную академию закончил, а мать — фельдшер.

Покрывил душой Егор из-за товарищеской солидарности. Потом сказал укоризненно;

— Ты что — сдрейфил?

— Так ведь ты сам сказал, что туда могут не принять, если олух...

— Да возьмут тебя, не бойся,

убеждал Егор. Весь этот день он был непривычно угрюм, неразговорчив. Его, наверное, угнетало, что он покривил душой, не признавшись товарищам в своем выборе.

Мы учились, почти не зная отметок. В тетрадях и классном журнале учителя проставляли “хор”, “уд” и редко “плохо”. Но нас мало трогали отметки в конце учебного года обучения в школе. Правда, всегда приятно увидеть “хор” в своей тетрадке, а “неуд” вызывал чувство вины, но отметки эти распространялись только на данную работу. У нас не было контрольных, не было экзаменов, в том числе и выпускных. Революция, подвергая все ломке, многое изменила и в устройстве школы. Правда, сгоряча были отброшены и проверенные долгими годами практики полезные законы и критерии. Ломка старой школы и создание новой коснулась нас в полной мере. Мы учились по “бригадному методу”, когда урок учителю отвечал лучший ученик бригады. Мы учились по методу Дантона, переходя из одного “спецкласса” в другой, причем специализация заключалась лишь в табличке, висевшей на дверях класса. Но все эти новации, к счастью, быстро устаревали, не успев внедриться и принести большого вреда. Оставались либерализм, демократичность в оценке знаний учащихся. Этот либерализм, видимо, диктовался объек-

тивной необходимостью, социальной и политической. Неграмотная на три четверти страна жадно рванулась к знаниям. И сохранение экзаменов, жесткая регламентация в оценке знаний была бы расценена как проявление чуждого революционным идеалам, принципам культурной революции буржуазного влияния, замаскированного стремления преградить путь к знаниям простому народу. Этот максимализм разделяли все наши учителя, не докучавшие нам излишней требовательностью. И, может быть самый нестрогий наш педагог Игорь Васильевич вспоминал балльную систему, демонстративно ставя иной раз нам пять с плюсом, а то и тройку, и даже единицу.

Либерализм в оценке знаний, отсутствие конкурсов открыли широко двери высших и средних учебных заведений тысячам и тысячам детей рабочих и крестьян. Стране крайне нужны были, причем срочно нужны, свои инженеры, врачи, учителя. Недостаток знаний, культурных навыков компенсировался необыкновенной работоспособностью студенчества двадцатых и тридцатых годов. Даже в краткие минуты поглощения скудного завтрака или обеда студент успевал прочитать пару страниц из учебника. Он штудировал его в трамвае, спеша на лекцию, читал до глубокой

ночи, вызывая недовольство экономного коменданта: “свет жгут”... Именно эта среда одержимых выдвинула впоследствии великих ученых, открывших секреты атома, построивших ракету, поднявшую человека в космос.

Да, в эти дни мы быстро раздражались, ссорились, и в то же время, как никогда, тянулись друг к другу, инстинктивно предчувствуя долгую разлуку, может быть, навсегда... Временами нас переполняли чувства любви и великодушия, всепрощения. Мы уже, кажется, не находили друг в друге раздражающих нас недостатков. Мы все чаще уходили по вечерам в парк, такой прекрасный и манящий в майские дни.

Один из таких вечеров особенно запомнился мне на всю жизнь. Перед закатом солнца мы, парни нашего класса, шли, обнявшись, по широкой аллее. Мы мечтали вслух, перебивая друг друга. Каждый торопился откровенно высказаться перед товарищами. Мы горели желанием скорее покинуть школу, и мы жалели ее покинуть, расстаться с этими славными ребятами, с которыми прожили три года — значительную часть своей еще такой короткой жизни. Сладкая грусть щемила наши юные сердца. Мы шли, обняв друг друга за плечи, восторженно кричали и пели, заявляя о своем товариществе всему этому теплему миру, звездному майскому

небу. Мне казалось, что я никогда больше не испытывал такого сладостного чувства единения душ и оно может не повториться, высокое нравственное чувство редко дарит нам наша жизнь. Но я благодарен жизни за этот бесценный подарок в юности. Сознание того, что есть такое чувство на свете, что оно возможно, что есть на земле братская общность людей, всегда поддерживало меня в трудные минуты испытаний. Меня всегда грело сознание, что я могу так чувствовать.

В эти предвыпускные дни мне представился случай познать впервые с такой пронзительной ясностью, что высокие чувства нередко уживаются в человеке с низменным, мелочным, унижающим его.

Мы шли с Алтыновым по коридору и столкнулись с входившими в коридор с лестничной площадки девушками. Катя и Марта шли впереди, таща в корзине и узах посуду и какую-то снедь. Мы посторонились.

— Помогли бы, невежи, — сказала Катя, обращаясь к Алтынову.

— Еще чего! — мотнул тот лохматой башкой. — Сами донесете.

Произнес эти слова Алтынов со злостью, и причина ее мне была известна. Когда Алтынов и Катя ссорились, то обычно обменивались записками, а мне нередко приходилось быть почтальоном. Не всякому

доверял Алтынов свои тайны. Поручения товарища я аккуратно выполнял, хотя и без особой охоты. Получив от меня последнюю алтыновскую записку, Катя сказала небрежно: “Ответа не будет...”

— Сами? А вас не касается? — вмешалась Марта. — Выпускной вечер, ужин для всех.

— Очень нам нужен ваш ужин, — ехидно скаламбурил Алтынов, приглашая меня взглядом поддержать его. Я натянуто ухмыльнулся.

— Он первый придет, куда денется, — уколола Алтынова рассерженная Катя.

— И не подумаю! — заиграл желваками скул Алтынов. — И никто из ребят не придет.

— Ох, держите меня! — смеялась Катя.

— Вот увидите, не придем! — кипятился Алтынов вслед уходящим девчатам.

С необыкновенным красноречием Алтынов принялся убеждать ребят не ходить на выпускной вечер. При этом он ссылался на меня, слышавшего, как пренебрежительно говорили девчата о “нашем брате”, словно мы попрошайки какие! “Игнат, скажи им...” — требовал при этом Алтынов, если я случался рядом. Иной раз я вяло бормотал что-то в подтверждение, но на душе было тягостно, нехорошо. Затея Алтынова сорвать вечер не нравилась мне, но я не находил

в себе смелости сказать всем, что я думаю обо всем этом, что пустяшная ссора двух влюбленных не должна превратиться в причину коллективного предательства. Ведь мы своим глупым поступком оскорбим девочек, оскорбим учителей, себя в конце концов тоже оскорбим. Наверное, так думали и другие ребята, но так же как и я, из-за ложной солидарности помалкивали, безоговорочно становясь на сторону самолюбивого, не признающего компромисса Алтынова, обладающего таинственной властью над другими. И я, пожалуй, стал разбираться в сущности этой власти, лидерства Алтынова. Умный, находчивый, всегда ироничный, он тонко пользовался этим главным своим оружием — иронией. Ничего так не боится подросток, юноша, молодой, еще не сложившийся характер, как иронии, как оказаться смешным, мелочным, не престижным в глазах людей. Ирония страшнее кулака, зуботычины. Синяки и ссадины заживут, исчезнут скоро, а насмешка ранит надолго и глубоко, иногда на всю жизнь.

Противоречивые чувства овладевали каждым из нас в тот злополучный и долгожданный вечер. Чтобы бессмысленно не томиться в общежитии, мы отправились на пришкольную площадь играть в футбол. Игра несколько развлекла нас, но на сей раз, против обыкновения, поднадоела быстро, не было прежнего азарта. Еле

дотянули до сумерек, возвратились в свою спальню. Когда шли по коридору, слышали, как в классной нашей комнате произносит речь Мария Андреевна и в ответ ей что-то радостное восклицают девочки. В спальне кто завалился на кровать, кто принялся за книжку. Николай Гаврилов стал рыться в своем роскошном, правда теперь сильно потертом за три года, чемодане. У запасливого Николая можно было одолжить иголку с ниткой, перочинный нож, йод и кусок бинта, самодельную расческу и осколок зеркала. Жизнь научила парня с раннего детства заботиться о самом себе. Мы ценили в Николае его хозяйственность, учились у него домовитости.

— А Егор Боровиков там... с девочками...— произнес Степан, нарушив нехорошую тишину спальни.

— Ха! Позавидовал! Подлиза твой Егор! — презрительно процедил Алтынов, берясь за балалайку.

— Пусть подлиза, а мы — дураки, — завелся Степан, привстал с кровати, зло глядя на Алтынова. — А он, Егор, умнее нас. Ну кому чего мы доказали, если не пошли на вечер, кому?

— А тебе пряничка захотелось? Лимонад там есть, иди попей...— сказал Алтынов, уязвленный словами Степана. При всем признании авторитета Алты-

нова, Степан не мог молча вынести такого оскорбления. Он раскраснелся, рыжие его волосы, казалось, вспыхнули пламенем. Сжимая кулаки, он подскочил к Алтынову:

— Не нужен мне пряник! Перед учителями стыдно. Ты всем головы заморочил, Алтынов, из-за тебя все! Так и все считают, спроси вон у них, — указал Степан на ребят. Алтынов медленно обвел глазами притихшую комнату, но ни один обитатель не захотел встретиться с ним взглядом... Алтынов понял в данную минуту, что все осуждают его. И, наверное, сознавал, что осуждают справедливо. Но Алтынов не был бы Алтыновым, если бы согласился с оценкой такой своего поведения. Он пренебрежительно сплюнул на пол и произнес как можно презрительнее:

— Вчера все были за неучастье, а сегодня — в кусты? Коленки задрожали? Эх, вы, хлюпики!

Эти слова только подтвердили правоту Степана и даже снимали с каждого из нас частицу ответственности за коллективный наш некрасивый поступок. Мы зауважали сейчас Степана и внутренне порицали себя, что пошли на поводу у самолюбивого Алтынова. Впервые, пожалуй, мы вдруг почувствовали всю несправедливость нашего поведения, и захотелось уйти от этих мыслей, и мы не могли уйти. В это тягостное мгновение в дверь громко

забарабанили:

— Войдите! — обрадованно крикнул Степан.

Вбежали принаряженные наши девчата. Марта, их предводительница, затараторила с милым финским акцентом, обращаясь к Николаю:

— Коля, мы тебя очень просим: приди, поиграй.

— А кавалеры есть? — повеселел Гаврилов, усмехаясь.

— Найдутся. Из Гостилиц парни пришли, — сообщила Марта, лукаво поглядывая на нас, угрюмых и расстроенных.

Девчата увели Николая. Молчание в комнате продолжалось. Первым не вытерпел Степан:

— Вы как хотите, а я пошел, — сказал он.

— Куда? — слабо произнес Голов.

— На танцы, куда же еще, — и исчез из комнаты. За ним потянулись другие. Я все медлил, проклинал себя и медлил. Я боялся злой иронии Алтынова, до боли в висках. Он обзовет меня слабаком, клятвопреступником, трусом. Он скажет обязательно, что я, считающийся в школе поэтом, не обладаю благородством поэта, так как с легкостью меняю свое мнение, не держу слова и т.д. Я смотрел на помрачневшего Алтынова и думал, что если сейчас не поступлю сообразно

правде, желанию своему, если не порву путы унижительной подчиненности чужой воле, воле этого парня, то я вообще никогда не смогу поступить по совести, по правде, всегда буду ходить в подпевалах у сильных личностей. Ну нет! На этот раз я плюю на ложный авторитет Алтынова, наплевать мне на его насмешки и подначки, все стерплю, все выдержу, но поступлю по своему. Я поднялся с койки, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Я тоже пошел...

Алтынов молчал. Один теперь Кауров оставался в спальне, не решаясь уйти, опасаясь гнева своего строптивого товарища. Алтынов взглянул на него, проговорил презрительно: — Пускай идут, подлизы и слабаки.

— Я тоже с Игнатом, - с отчаянной храбростью произнес Кауров. Не легко ему было принять такое решение, вижу по его побледневшему лицу. Он вроде и ростом стал повыше.

Алтынов остался в одиночестве.

...Три раза в неделю я ходил в Мишелово учить председателя колхоза счетоводству. Те крохи знаний о начислении трудодней, которые я получил на краткосрочных курсах у Ивана Антоновича, делали меня очень не уверенным в себе учителем, хотя я к каждой встрече усиленно готовился. Мы оба с председателем потели над разбором очередной задачи. И очень

радовались, когда расчеты наши совпадали. Я часто замечал, как председатель во время наших уроков умолкал, взгляд его становился отсутствующим, погруженным в себя, в свои думы. Замечая, что я нетерпеливо посматриваю на него, он оживлялся, смущенно улыбался и говорил:

— Извини, брат, поле из головы не выходит. Сеять надо, а из района команды нет.

Я искренно сочувствовал председателю, поругивал медлительный райком. Не знал я, и долго не узнаю, что “команды” эти приведут когда-то сельское наше хозяйство к упадку.

Сегодня я не застал председателя в конторе. Сказали — он на поле. По школьной привычке решил его найти и доложить, что приходил, пусть не подумает, что манкирую. Сразу за деревней нашел его. Всегда тихий, уравновешенный, сегодня председатель удивил меня своей горячностью. Он наступал на мужика, боронившего поле и кричал;

— Вот тебе, паразиту, надавать по сусалам — хорошо тебе будет? Это же надо так лошадь бить!

— А ты руками не маши, не старый режим, — огрызался мужик. — Ну поучил маленько... Это ты ко мне, потому что — твоя Пегашка. Председатель, а за свое

сердечко-то екает?..

— Дурак ты, — остывая, сказал председатель. — Пегашка моя была, верно. Общая сейчас... Но разве общее жалеть не надо? Не будем скотину жалеть, что у нас получится?

— Надо жалеть, — согласился мужик. — А вот людей? Как считаешь? Надо жалеть?

— А людей в первую голову, — подтвердил председатель. — Без жалости нам нельзя.

— Что-то пока не видать, чтобы мы человека жалели, — вздохнул мужик. — Эх, а ты лошадь! Но-о, трогай помаленьку, — дернул за вожжи. Пегашка потащила борону.

Этот разговор о жалости потом я не раз вспоминал. И каждый раз соглашался с колхозниками безвестной деревушки: без жалости к живому жить нельзя.

А вскоре меня постигла беда. У меня заболели глаза. Я не мог смотреть на свет. Сельский наш фельдшер, осмотрев меня, неопределенно что-то сказал о конъюнктивите, выписал капли. Капли не помогали, глазу становилось хуже. Как-то утром, осмотрев мой глаз, Егор Боровиков сказал озабоченно:

— Идем-ка, я покажу тебя матери. Она хоть не глазник, но что-то посоветует.

Как я ни занят был своим страданием, приметил пустоту в доме Боровиковых.

— Вот, укладываемся...уезжаем...— сказал Егор.

— Куда?

Егор неопределенно пожал плечами.

— Может, на какое опытное поле...— пояснил он. И тише добавил: — Не поладил отец с районным начальством. В оппортунизме обвинили...

Татьяна Васильевна, осмотрев меня, настоятельно потребовала, чтобы я немедленно ехал в Ленинград и показался окулисту.

Почти не видя дороги, шел я на хутор, не зная, застану ли там мать, или она портняжничает в каком-нибудь далеком селе. Мне повезло. Мать была дома. Она захлопотала, обеспокоенная моей болезнью. Помог сосед, Митя Осипов. Он работал крючником в ленинградском порту и как раз находился дома в краткосрочном отпуске. “Слушай, — сказал он. — Я тебя проведу к врачу под своим именем в нашу портовую поликлинику. Если бюллетень дадут, не отказывайся, я за тебя отдохну”. Мне было не до тонкостей морали, и я с готовностью согласился. Плохо помню, как вез меня в Ленинград мой добрый друг Митя, как записывал к главному врачу. Седенький врач, повертев в руках учетную карточку, вроде бы усомнился в том, что я и есть двадцатилетний здоровяк грузчик,

но ничего не сказал. Он долго рассматривал мои глаза. Потом выписал какую-то мазь, а капли, которые я принес с собой, велел вылить, заметив: “От этих капель, молодой человек, глаза у вас могли совсем пропасть...” Я похолодел от страха, слушая доктора и вспоминая слова, произнесенные крестьянином там, в Мишелово: “Без жалости нельзя...” Ведь все, что со мной случилось в эти дни, все зиждется на жалости человека к человеку. Меня как бы эстафетой передавали люди по цепочке жалости и сострадания. И в жизни я еще не раз буду спасен, осененный голубиными крыльями жалости.

Отлежавшись в каморке Мити на Садовой, я уезжал домой. У Балтийского вокзала, откуда мне ехать домой, я неожиданно столкнулся с нашими девчатами, изъявившими желание стать учительницами. Меня, близорукого, окликнула Марта:

— Игнат, ты куда едешь?

Я подошел. Здесь была и Зина Марянина. Девочки наперебой стали объяснять, что едут в Петергоф, что там и будут заниматься. Я слушал всех рассеянно и смотрел на Зину. И мне казалось, что я вижу ее в последний раз. В ее глазах печаль и что-то необъяснимо дорогое моему сердцу. Мы чуть отстали от ее подруг, я спросил:

— После курсов куда думаешь?

— Меня уже назначили в Лопухинку, — ответила Зина. — Первый и третий классы. Это недалеко от Гостилиц. А ты куда поступаешь?

— Вот... — замялся я. — В техникум хотел... Советуют мне в ФЗУ. На слесаря.

— Слесарь — это хорошо, — одобрила Зина. — У меня дядя слесарь. На Путиловском.

И еще о чем-то говорили мы, идя вдоль состава. О чем-то незначительном и сейчас обоим совсем ненужном. У меня в голове звенел давнишний вопрос Шемякина:

“Вы любите друг друга?” А если спросить Зину? Она может ожидать этого вопроса, почему у нее такой вопрошающий взгляд. Сказать?

— Зина, пора! — кричат подруги.

— Прощай! — сказала Зина, крепко сжав мою руку. — До встречи!

— До встречи, — отозвался я, шагая возле тронувшегося в путь вагона. Поезд ускорял движение. Вот уже совсем не различаю лица Зины, машущей мне рукой из открытых дверей тамбура. Я бегу, запоздало шепчу: “Я люблю тебя, Зина!”

А она все машет рукой и тоже что-то кричит в ответ...

Впервые за три года я не пешком добирался до Гостилиц, а ехал верхом на

молодом жеребчике, которого после долгих внушений — как с ним обращаться — уступил мне сосед по хутору, обрусевший немец Сергей Шефер. Мне предстояло забрать в школе убогие свои вещички, книги, получить справку об окончании школы. В опустевшем старом дворце оставались только Мария Андреевна и Игорь Васильевич. В канцелярии полумрак от зеленой листвы деревьев, растущих за окном. Мария Андреевна каллиграфическим своим учительским почерком выписывает мне на четвертушке тетрадного листка документ и спрашивает о матери, о моих планах. Мысль получить профессию слесаря она одобрила. Через несколько лет у меня украдут эту справку вместе с чемоданом. Я до сих пор жалею эту справку — память о трех незабываемых годах, проведенных в Гостилицах.

Я спешил в обратный путь, чтобы почти засветло вернуться домой. И потому лишь несколько минут провел в комнате Игоря Васильевича. У него ангина, горло окутано шарфом. Преодолевая боль, он напутствует меня, говоря со мной серьезно, как с товарищем.

— Ты пиши, — повторял он. — Мне интересно знать все о тебе. Ты пиши, не ленись...

Растроганный прощанием с учите-

лями, я обежал всю нашу школу. Заглянул к Сергею Кузьмичу в его прокуренную махрой комнатушку. Старик хвастался, довольный бесконечно:

— Арсений-то, в техникуме. Большой спец будет Арсений мой...

Зашел в наш класс. Было тут тихо, светло, так все знакомо. На доске еще не стерта надпись мелом: “Ура выпускникам!”, начертанная рукой Степана. Вон на той парте, у окна, сидела Зина Марьянина...

Я покидаю Гостилицы, погоняя своего конька. Оборачиваюсь назад, долго смотрю на белую зубчатую башню, возвышающуюся над вековыми деревьями, на белые стены хозяйственных построек совхоза, на серые хатки села. И сердце предсказывало мне, что я больше никогда не увижу этих мест...

март 1987

январь 1989 г.г.



ювЮБТ;ЕлЕЗБЧ А,З, дДЕиЗБеЮ;м

Отдельные издания и рецензии на них

; пГзыщх ОхжжКбы? Повесть. - Хабаровск: Кн. изд-во, 1959. - 200с.: ил. Рец.: Ивенский Н. Повесть об историческом курьезе // Тихоокеан.звезда. - 1959. - II сент.; Максимов Н. Амурская Калифония //Дал. Восток. - 1959.- №6. -С. 186-188

Е.зы -2пГИ п-К752? Повесть. Хабаровск: Кн.изд-во, 1960. — 136с.:ил.

ютКжыщп Повесть. - Хабаровск: Кн.изд-во, 1963. - 112с. Рец.: Ивенский А. Разорванная паутина //Тихоокеан.звезда. - 1963. -12 нояб.; Занин Н. Плюсы и минусы одной повести // Дал.Восток. -1964.-№6.-С. 177-179.

Зтб-тпт? Повесть -Хабаровск: Кн.изд-во, 1966. - 200с. Тоже - М.:Мол. гвардия, 1969. 239с. Рец.: Ивенский А. Рождение дружбы // Тихоокеан.звезда. -1966. -7 окт.; Шестакова Ю. По старым тропам - за новыми находками // Дал.Восток. -1966 -№4. - С.169-171.

юГпыыб щт мИК-х?Докум.повесть. - Хабаровск: Кн.изд-во, 1967. -151 с.: ил. - В соавт. С Дородновым Е.В.

Тт-щыз—?Повесть. - Хабаровск: Кн.изд-во, 1972. - 230 с. - (Дальневост. героика) Рец. Журавина О. Снова о приключениях//Дал. Восток. -1972.- №2.-С.151-152; Рябов В. Память, озаренная героизмом // Тихоокеан.звезда, -1972- 8 окт.

№Ксх.жбГ еГИ.ГИГэ5.рт? Хроника героич.
стройки. - Хабаровск: [Кн.изд-во, 1974.] - 270с.
- (Адрес подвига - Дал.Восток). - В соавт. С
Дородновым Е.В.

Зтб-тпт : "/т-щыз—" Повести. - Хабаровск: Кн.
изд-во, 1975. - 430 с.:ил.

Б.4—жтщых пГх-ыхИ Зап. первостроителя
города. - Хабаровск: Кн.изд-во 1978. - 320с.
Рец: Дороднов Е. Быль о рабочем героизме //
Дальневост.Комсомольск. - 1978.-27 авг.

еГ-т9хз—? Повесть. - Хабаровск: Кн.изд-во,
1982. - 240с.

вт..ртсы .—щГь52И,,,? Докум. Повесть |о
первостроителе Комсомольска-на-Амуре
И.Сидоренко.| - М.:Мол.гвардия, 1984. - 207с. -
(Герои комсомола). Рец. Халов П. Что
рассказано сыновьям? // Тихоокеан.звезда. -
1985. -31 июля.

Б.4—жтщых пГх-ыхИ? Повести, рассказы. -
Хабаровск: Кн.изд-во, 1985. - 560с. - (Байкало-
Амур. Б-ка "Мужество"). - Содерж.: Повести:
Испытание доверием; Корабелы. Рассказы:
Мельница Силина; Васена; Двое у реки.

дГспхщых 7т 6Г-ы7Гщж Удож. - Докум. Повесть.
- Хабаровск: Кн.изд-во, 1988. - 176с. -
(Писатели Приамурья. Лит. порт.).

*Из публикаций в периодической печати
и сборниках*

ЗГь—у ьщсхщх-? (Рассказ) // Комсомольску-
на-Амуре 25 лет. - Комсомольск- н/а., 1957.-
С.31-42

их..Их-жых?“0 комиссаре партизан. отряда

И.И.Шером| // Дальневосточники. -

Хабаровск, 1966. - Кн. 2. - С. 95-98

дГ72урт -тпКбы?Рассказ // Дал.Восток. -1970.-

№10. -С. 112-115

мз—у эхжж 7т-ы?| Воспоминание о начале стр-

ва Комсомольска // Дал. Восток. -1978.- №10.

-С. 119-125.

“;Г.4ГИыштты2“// Песня моя - Комсомольск.

1932-1982: Стихи. Воспоминания. Очерки. -

Хабаровск, 1982. - С. 143-161.

Б.жГры щтцху пКВГъщГ.жы?Размышления о лит.

процессе в Комсомольске-на-Амуре //

Дальневост. Комсомольск. 1 1988. - 6 февр.

Хлебников Геннадий Николаевич
Уроки в Гостилицах

Редактор
Александр Лозиков
Художник
Анатолий Юферев
Корректор
Валентина Катеринич
Компьютерный набор и верстка
Артема Лозикова

Сдано в набор 03.11.2000. Подписано к печати 22.11.2000. Формат 84х108 1\64. 5,22 печ.л. Тираж 500 экз. Цена договорная

602



ТОНКИЕ ЛОЗЫ